Александръ
Дунаенко
В прошлом
веке...
Рассказы
Эссе
Статьи

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Из сотен, прочитанных в детстве книг, многим из нас пришлось по зернам собирать тот клад добра и знаний, который сопутствовал нам в дальнейшей жизни. В своё время эти зерна пустили ростки, и сформировали в нас то, что называется характером, умением жить, любить и сопереживать. Процесс этот был сложным и долгим. Проза же Александра Дунаенко спасает нас от долгих поисков, она являет собой исключительно редкий и удивительный концентрат полезного, нужного, доброго, и столь необходимого человеческого опыта. Умение автора искренне делиться этим опытом превосходно сочетается с прекрасным владением словом. Его рассказы полны здорового юмора, любви и душевного тепла. Я очень рад знакомству с автором, и его творчеством. И еще считаю, что нам с Александром очень повезло. Повезло родиться и вырасти в той стране, о которой он так много пишет, и которой больше не существует. Как, впрочем, не могло существовать в той стране, на бумаге, и такой замечательной прозы, которой сегодня одаривает нас автор.

Александр Еланчик.

- Александръ Дунаенко
  - Илек
  - Муравей
  - Плеврит
  - Шенк
  - Партизанские были
  - ТВ нашего прошлого
  - Прямой эфир
  - Презервативы СССР
  - Диссиденты 70-х
  - Кеншилик
  - Сценарий
  - Высоцкий
  - «10 1/2»
  - Трупный яд Венички Ерофеева, релятивизм и свальный грех
  - Гений и — злодейство?
  - Лев Толстой и кукуруза
  - Программные файлы
  - «TIRIT KIVI»

Александръ Дунаенко
В прошлом веке…

Илек

Речка Илек — речка удивительная. Я знал её в детстве, и потом всю жизнь, и лучше нигде не видел, не находил. Мелкая, с прозрачной водой, среди полей чистого светло-жёлтого песка, который оставался и разравнивался потом уходящей водой и ветрами после бурных весенних наводнений. Мелкий тальник по берегам и поля песка. Летом бывает трудно добежать к воде, если уже снял туфли, тапочки — песок раскаляется. А расстояние до берега — шагов пятьдесят…

Илек и с самолёта смотрится очень красиво: голубая извилистая струйка в зелёных бакенбардах прибрежных зарослей, а то и вовсе без них — ничем от солнца не прикрытая, среди песка…

Илек — речка неглубокая. Поэтому прогревается быстро, в ней хорошо купаться с малыми детьми. И безопасно и тепло. Случаются, конечно, на её пути к Уралу и небольшие затоны, и широкие плёсы. Но всегда можно выбрать место, которое вам больше подходит для отдыха. Ближе к выходным это место выбрать всё труднее. Весь город распределяется с машинами и мотоциклами вдоль берегов, так что поймать рыбку, или отдохнуть с чужой женщиной становится практически невозможным. Но, если в машине хорошенько надавить на педаль акселератора, то уже через час можно оказаться в местах, куда только Макар или Арыстан пригоняют своих телят. И то — в обед. А, в остальное время, окрестности небольшой степной речки ничуть не уступают прославленным пляжам всяких там Сейшел и Канарских островов.

Речка Илек летом вся такая уютная и домашняя. Где мелко — у неё довольно быстрое течение. Когда я попал в пионерский лагерь в Уральскую область, где река Чаган, то долго не мог привыкнуть к тому, что трудно определить, куда, в какую сторону в ней бежит вода. Нужно было бросить в мутную стоячую воду яблоко и за ним проследить. Куда яблоко — туда и течение. Да, и вода в этом их Чагане серая, и холодная, и дно скользкое, глинистое, противное… В общем — никакого сравнения с нашим Илеком и, тем более, с Канарскими островами.

Но такой ручной, мирной речка Илек выглядит отнюдь не всегда. Она мелководная летом, она почти иссякает на перекатах к осени, её, замерзшую и занесённую снегом, можно даже и не заметить зимой.

Но, когда весной пригревает солнце и со всех сторон, со всех огромных степных площадей устремляются в Илек потоки талой

воды, он превращается в могучую полноводную реку, Отца земли казахской, как Волга — Мать земли русской. На четыре — пять метров поднимается уровень воды, она разливается вокруг на многие километры. И тогда ни пройти через неё, ни проехать. Только — лодкой.

Ну, правда, такое положение существовало ещё в далёких стабильных семидесятых годах. Теперь понастроили мостов, добраться можно, куда угодно и когда угодно. А тогда…

В те времена школьники из родного моего посёлка Растсовхоз на время разлива перебирались в город, к родственникам, у кого были родственники. А те, у кого их не было, каждый день переправлялись через Илек на лодке. У меня родственников в городе не было. Мы с папой вставали раньше, чем обычно, на час и шли на переправу. Потому что у реки была очередь, за один раз можно было перевозить не больше восьми человек. Папе нужно было на работу, на завод, мне — вначале в пятый, а потом и во все остальные, классы.

Река Илек в половодье — это совсем другая река. Вода мутная, не понять, какая где глубина. Течение быстрое. В первые дни после вскрытия идут льды. Естественно, в это время на лодке никто не катается. Река становилась широкой, но величина эта была переменной: солнце пригрело, усилилось таяние в степи — воды больше, ударил мороз — вода пошла на спад. И потому часто приходилось искать, в каком месте новая пристань. И цены за проезд тоже менялись, в зависимости от ширины реки. Самая большая — двадцать копеек. В конце паводка, уже где-то в начале мая — десять.

В периоды этих лодочных переправ у меня всегда возникало острое желание самому попробовать сесть за вёсла, самому поработать перевозчиком. И я после школы часто околачивался возле шалашика дяди Карпа Колтайса, который был капитаном лодочной флотилии. Правда, лодка была одна, но, всё равно — флот.

И, случалось, мне везло — он пускал меня за вёсла.

А, нужно сказать, что управлять лодкой, грести вёслами в половодье на нашем Илеке, дело не только трудное, но и опасное. Ну, во-первых, сильное течение. И лодку нужно всё время держать наискось, под углом к течению. И — соразмерять усилия на правое и левое весло. Чуть недожал — и нос лодки разворачивает, и тебя относит течением вниз на сотни метров. Потом — собачий труд: лодочнику нужно часами молотить вёслами против сильного течения, чтобы опять вывести лодку на место, где у него пристань.

А, во-вторых — лодка легко могла опрокинуться. Особенно,

когда она уже у берега. Когда берег остаётся уже на расстоянии вытянутой реки, можно расслабиться. Потерять бдительность и случайно этого берега коснуться веслом. Весло сразу втыкается, застопоривается в глине, песке, течение давит с другой стороны на лодку, и она может опрокинуться. Вода ледяная. У берега может быть глубина в несколько метров…

Но я научился перевозить людей, научился уверенно управлять лодкой. Лет мне тогда было, может, тринадцать-четырнадцать. Во мне формировался мужчина. А мужчина должен проявлять себя в каких-то внешних поступках. Набить кулаком лицо школьному товарищу я не мог. Никогда не любил агрессию. А, к тому же, и не обладал особыми для того физическими качествами.

А вот на лодке пересечь реку — это было круто. Это не получалось у сильных мальчишек. И им дядя Карпо не доверял.

Помнится яркий солнечный день. Воскресенье. Немецкая пасха. На переправе и с той, и с другой стороны полно народу. Все в праздничных одеждах. Многие были одеты уже почти по-летнему. Ещё пару дней назад был «бескунак» — период обязательного холода, ветра и мокрых снегопадов. Когда тала вдоль реки покрыта льдом, по реке плывет «шуга» — мокрый снег. Когда вся лодка в грязи и тоже мокрая, обледенелая. Холодные брезентовые перчатки, газетки на сиденьях-перекладинах, чтобы не испачкаться…

Так было всего пару дней назад, а тут наступил праздник — Христово Воскресенье, и отступили все мокрые мрачные и холодные силы. Природа откликнулась навстречу своим праздником: в воздухе запахло первой слабенькой зеленью, распустились пушистые «зайчики» на тале, они тоже местами зацвели, медово запахли, и к ним налетели со всех сторон специальные пчёлки. Не знаю, по каким делам в то воскресенье я оказался на переправе. Но, по обыкновению, покрутился, поотирался возле дяди Карпа, чтобы пустил он меня за вёсла.

Ну, Праздник! Как меня не пустить. И я несколько раз сгонял через реку туда и обратно. Потом дядя Карпо сказал, что «хватит», и я пошёл домой. Домой, так домой. И дорога домой в этот день Праздника была особенной: на тропинке, в траве виднелись скорлупки от крашеных яиц. И светило солнце. И слабый ветерок гнал над землёй первые весенние ароматы…

В этот день на Илеке лодка опрокинулась. Кто там был за вёслами — не знаю. Лодка подходила к берегу, весло уткнулось в песок… Погиб маленький мальчик. Лодка опрокинулась и накрыла его сверху. Поэтому его не могли сразу найти. А так — всех разнесло течением, но берег был близко, и пассажирам

удалось выбраться…

В конце мая Илек мелел настолько, что лодка была уже не нужна.

Её вытаскивали на берег, отвозили в совхоз, где возле кузницы она лежала до следующего половодья.

Лодки не было, моста не было тоже. Мост сооружали позже. Вначале — пешеходный, из досок, потом делали насыпь, укладывали брёвна, и через мост уже могли проезжать машины. А до этого времени и школьники, и рабочие с завода ферросплавов перебирались через Илек вброд. Вода, конечно, ещё не парное молоко, но потерпеть можно.

У меня скоро были каникулы. Обычно я один ходил из школы домой, а тут как-то получилось, что с одноклассницей, Надькой Баныкиной. Жила она в «посёлочке», отдельно от нашего совхоза, поэтому «просто знакомые», «просто одноклассники» — и всё.

Подошли к Илеку. Нужно, однако, переходить.

Я снял штаны, сложил их аккуратно, взял в другую руку свой и Надькин портфель и пошёл вперёд. Идти было недалеко: Илек уже превратился просто в широкий ручей, мелкий, с осветлевшей водой. Я стал выходить на противоположный берег. Надька шла следом, я оглянулся посмотреть — как она там? Надька переходила небольшое углубление у самого берега и высоко подняла юбку. Голые ноги, маленькие трусы в бледный розовый цветочек.

А я ещё никогда не дотрагивался до девчонок. И не «дружил» и — ничего. Я их не знал и вблизи, можно сказать, не видел. Потом — зима, одежды… Шубы, валенки, сапоги, всю зиму видишь у одноклассников только лицо из одежды, а тут…

А тут, сразу — белые девчачьи ноги, трусы…

Надька делала в воде по песчаному дну осторожные шаги и, поймав мой взгляд, улыбнулась…

А мне тринадцать лет, ёлки! Кровь напополам с гормонами!

Да и зрелому мужчине — каково бы ему было, если бы, даже летом, посреди улицы, девчонка бы перед ним юбку подняла?.. Он бы сразу соляной столб превратился!..

Но у нас, у мальчишек в тринадцать лет, организмы крепкие.

Я и виду не подал, что у меня в тот момент внутри Хиросима грохнула.

Я спокойно вышел на берег.

Следом за мной и Надька. Вода даже не дошла ей до трусов, не замочила. Половодье закончилось. Илек опять стал мелким.

А послезавтра уже наступило лето…

Муравей

Первая прополка на помидорах — восемьсот квадратных метров. Вторая — тысяча. Это — норма. Считается, что второй раз полоть легче. Кто выполнит норму — получает два рубля пятнадцать копеек. На поливе нормы другие: первый полив — четыре тысячи квадратных метров, второй и последующие — пять. Поливщикам хорошо платили: за норму три рубля шестьдесят копеек. Большой насос качал воду издалека, из Илека, оттуда по глубокому валу (так у нас называли арык) вода приходила на поля Растсовхоза. На три — четыре тяпки. Это значит, на три — четыре поливщика. Земляной вал-арык в ширину мог быть до полутора метров, в нём можно было спокойно искупаться в летнюю жару. Он быстро зарастал травой, его чистили острыми тяпками. И на это тоже были нормы. Восемьсот метров, тысяча… Мне тринадцать лет. После седьмого класса мама посоветовала мне пойти в совхоз на заработки. Всё равно каникулы, делать нечего! Я представил себе, что уже через месяц у меня появятся совсем уже дурные деньги, на которые я могу себе купить!.. И тут я просто терялся. Я даже не представлял, что я смогу купить на те деньги, которые заработаю. Ну и вот я в поле. Не я один. Вокруг около десятка совхозных женщин. Растениеводство в нашем совхозе держалось почти исключительно на женщинах. Они пололи, выращивали рассаду, перебирали в холодных подвалах картошку. Мужчины были учетчиками, бригадирами, шофёрами. В середине шестидесятых мужчин ещё в стране было мало… Ну и, значит, я в рядах рабочего женского класса. Вокруг пыль, жара. Прямые, жёсткие лучи казахстанского солнца. Женщины в поле — это такие пчёлки. Которые всё время работают, работают. И для них, кажется, нет никакой жары, нет этих огромных площадей, заросших сорняками. Сейчас туда, где жарко, опасно, трудно, пускают роботов. Нанотехнологии. Оглядываясь в шестидесятые, я начинаю думать, что в тех женщинах моего детства были установлены специальные наночипы. Чтобы работать весь день, когда на солнце пятьдесят градусов и не падать в обморок. Чтобы выполнять, а иногда даже и перевыполнять эти нормы в тысячи квадратных метров. Чтобы вечером те из них, которые ещё девчонки, успевали выкупаться, накраситься и прибежать в клуб на танцы… Я, среди этой компании, был единственным мужчиной. Ну, и, старался, если не идти впереди всех со своей тяпкой, то хотя бы не отставать. Что оказалось делом не только трудным, но и для меня неподъёмным. Всё-таки норма в

восемьсот метров, по моим ощущениям, была великовата. Слегка отставая от основной группы всё дальше и дальше, я кое-как дотянул до обеда. Перекусить сели тут же, на планке помидоров. Вокруг — ни кустика, ни клочка тени. Достали свои свёртки. Бутерброды, бутылки с молоком, чаем. Хиханьки всякие, хаханьки. Шутят наноженщины, будто сидят где-нибудь на пляже, где море, пальмы, чайки… Я тоже сидел рядом, улыбался шуткам, не всегда понятным. Элиза Шеффер обронила: «Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты — осталась гадость…». Почему гадость, когда мечты?.. — думал я, но ничего не переспрашивал у этих весёлых женщин. Только слушал. И тут… И тут возникла неожиданная, очень неприятная для меня ситуация. Пока я, сидя на земле, жевал свой бутерброд, ко мне в штанину залез муравей. И не просто в штанину. Он там, под низом, добрался до самого верха и больно меня ужалил. Причём, не просто в ногу, а… Как бы это выразиться поделикатнее… Ну, как тут ещё скажешь — за яйца, — чего уж там! Вот вы представьте ситуацию: вокруг девушки, женщины. Мне тринадцать. Я страшно стеснительный, ничего про девушек не знаю, только заглядываюсь на них издалека, слегка побаиваюсь и тут… И тут вот эта проблема!.. И — ладно бы — укусил этот гад разок, да ушёл бы куда-нибудь к себе в муравейник, ан — нет! Он ещё раз меня укусил. А потом ещё и ещё. Спокойно передвигался там внутри по объекту и издевался! Вот я иногда задумывался, почему братья наши меньшие, вплоть до мельчайших насекомых, кусают нас иногда просто так? Или — кусают, а потом от них чешешься? Вот, к примеру, комар. Ну, хочешь кушать — ну, возьми, попей моей кровушки, но зачем ещё гадость какую-то впрыскивать? Уже и улетел давно кровопивец, уже и забыл про тебя, а на теле остался волдырь. И чешется, чешется… А мне один биолог объяснил насчёт комара. Не такой уж он и зловредный, оказывается. И все его поступки вызваны насущной необходимостью. Дело в том, что кровь у нас густая, а хоботок у комара тоненький. И не может он через него свободно из нашего тела попить кровавого коктейля. И потому перед процедурой впрыскивает комарик вещество, которое кровь разжижает. У вампиров — ещё и обезболивает. Ну, и — пьёт потом спокойненько. Потом улетает. А мы чешемся, пока рассосётся в нас вся эта комариная химия… Ну и — вот… Кусает, значит, меня муравей. Бесстыдно и беззастенчиво. Кажется — пустяк! Только и делов-то — схватил террориста за лапки и выкинул подальше. Ага! Это что? Встать перед всеми, снять штаны и — ПРОСТО ВЫКИНУТЬ? Да — лучше умереть!!! И тут я ещё вот что хочу о себе добавить: я от природы интроверт. Все в себе. Слушаю, думаю, а выражать прилюдно свои эмоции не

могу. Если и нужно когда, то делаю это через силу. Щёлкаю внутри себя переключатель, будто я публичный человек — и хохочу, там, выступаю…

Переключатель сработал сам, автоматически. И — вскочил я тогда, при очередном невыносимом укусе. И заявил присутствующим милым женщинам-труженицам, что хочу их развлечь, исполнив танец диких индейцев. Ну, очень диких. И стал вокруг них скакать, подпрыгивать, в надежде на то, что мой палач отстанет, свалится куда-нибудь, наконец. Иногда — совсем незаметно, мельком, молниеносно, я ударял себя в то место, где должен был находиться мой мучитель. Потом похожие танцы я увидел в исполнении Майкла Джексона, Леди Гага. Только у них, в сравнении с моей спонтанной хореографей, всё происходит в сильно замедленном темпе. Им нужно, чтобы все, до самой галёрки замечали, как и где они бьют своего комара. А в наше время это бы считалось неприличным… Я скакал, я делал всё в таком темпе, что непристойных моих движений никто не должен был заметить… Не знаю, насколько мне это удалось… Но силы кончились. Я устал, охрип. Не индеец — каждый день не танцую. Но, кажется, помогло. Муравей затих. Отвалился, видать, гад, вывалился. И я только теперь заметил, что женщины, зрительницы мои, утирают слёзы от смеха, что очень по душе пришёлся им мой фольклорный танец. И даже похлопали мне в ладошки!..

Я присел доедать бутерброд. И тут… Смотрю, ползёт по треникам сверху, вылазит на согнутую коленку мой коварный обидчик. Сел на возвышении, усами шевелит, и — так — изумлённо голову наклонил, на меня поглядывает. Сейчас я напишу такое, за что меня осудят всякие «зелёные» и защитники живой природы. Но я напишу, я признаюсь. И не буду испытывать никаких угрызений совести. Я — УБИЛ этого муравья! Я с размаху шлёпнул его ладонью и размазал по коленке! Так в классических боевиках в конце фильма убивают злодея: с удовольствием, с чувством глубокого удовлетворения!..

Я уже был один. Женщины ушли в поле, допалывать планку помидоров. Я схватил тяпку, побежал на свою полоску. Я так и не выполнил в этот день нормы. Женщины пололи быстрее меня и лучше.

Они закончили свою работу, вернулись ко мне и вместе помогли дойти до края моего участка.

Плеврит

В шестнадцать лет я попал в больницу. Экссудативный плеврит. Это такая штука, когда на лёгком образуется пузырь, внутри которого экссудат — жидкость. Что-то вроде ожогового пузыря. Жидкости в пузыре может быть до нескольких литров. И при лечении она, либо рассасывается сама, либо её откачивают специальным шприцом с толстой иглой, протыкая спину.

Меня поместили в железнодорожную больницу Актюбинска, потому что жил я в Растсовхозе, который выращивал для железной дороги овощи и ей принадлежал.

Молоденькая и симпатичная врач-терапевт Боровая простукала у меня по спине пальчиками, нарисовала на теле границы пузыря. Потом она каждое утро так меня простукивала. Потому что было назначено лечение, и пузырь должен был уменьшаться. Но он сокращаться не торопился. Хотя температуру мне сбили, и самочувствие моё почти пришло в норму.

Дни шли. А шестнадцать лет — они и в больнице шестнадцать лет. Это, когда тебе шестьдесят, можно лежать сутками напролёт на диване, глядеть в потолок и вспоминать БЫЛОЕ, а в юности, когда этого БЫЛОГО ещё нет, нужно интенсивно заниматься его созданием.

Я всегда заботился о том, чтобы моё «былое» потом мне самому, когда я буду лежать и глядеть в потолок, выглядело интересным. И, по-возможности, весёлым. Ну, и…

В палате у нас лежали совсем взрослые мужики. Им было по сорок лет, а ветерану войны Ларинскому и вовсе за шестьдесят. Сейчас таких уже не всегда берутся лечить. Поехал наш друг семьи, Иван Иванович Афонин, в районную больницу, пожаловаться, что у него в животе болит, а ему сказали: — Ну, что же вы хотите — «старость». С тем старик психанул и уехал. Потом, правда, примчались, когда случился страшный приступ, забрали на «скорой», откачали.

Вообще — интересный это диагноз — «старость». Я о такой болезни раньше не слышал. В Актюбинске ушел из жизни родственник. Ему в справке о смерти написали «умер от старости». Я медицинскую литературу не читаю. Может, в последнее время, произошло открытие этой новой болезни, и только мне о том не известно?..

И тогда, свете последних открытий, совсем по-другому выглядит трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Вроде, как: «Тиф», «Чума», «Малярия».

Ну, в общем, попался мне на моей юной дороге Ларинский.

Несмотря на свой предсмертный возраст, он выглядел ещё совсем живчиком. Рассказывал, как любит ещё поозорничать со своей старушкой. У него было воспаление лёгких. Ему делали уколы, ставили банки.

Однажды, когда медсестра совершала над ним этот ритуал, я оказался поблизости. Худенькое маленькое тело Ларинского было распластано на постели. Сестра держала в руке яркий огненный факел, окунала его в стеклянную колбочку и затем быстро эту колбочку пришлёпывала к спине Ларинского.

Я взял с тумбочки стакан и тоже, так же быстро, надел его на факел, а потом, сдёрнув с Ларинского резинку трусов, припечатал стакан к половинке его старческой жопки. Куда эта половинка тут же полностью и ушла. Медсестра вскрикнула. Ветеран почувствовал что-то неладное. Оглянулся и увидел, вместо исколотой своей ягодицы, стеклянную Фудзияму. Пришёл в ужас. Тут же вскочил. Стал подпрыгивать на кровати, кричать, что он участник войны, что он американцев по Германии сто километров гнал, а над ним издеваются!

Сняла с него стакан медсестра. В палате ещё долго стоял хохот. Смех — это лучшее лекарство.

Каких-то несколько минут ужаса Ларинского на несколько дней приблизили выздоровление каждого из нас.

Больница — такое место, где нет для медиков ни одной части на твоём теле, которую ты пытался бы от них прикрыть, либо, каким-то образом, стыдливо утаить.

Когда попадаешь в больницу, то, в первую очередь, выясняется, что у тебя ещё, кроме крови, биографии, есть ещё и моча, и кал. И — «это снимите», «тут покажите». «А какой у вас стул?..».

Машинисту тепловоза Зарубину из нашей палаты объявили, что будут у него завтра проверять кишечник, а для этого необходимо ему с утра поставить клизму.

Больница. Клизма. Обычное дело.

А Зарубин что-то заволновался. Ему стали успокаивать — мол, совсем не больно, может быть — когда в первый раз, а потом даже и понравится. Но он всё равно переживал. И потом проговорился: стесняется он. Вот придёт какая-то медсестра, посторонняя женщина, он перед ней должен снять трусы, принять унизительную позу. Ещё как-то, если перед женщиной без трусов стать лицом — это одно, а вот, когда наоборот…

А тут как раз и я оказался поблизости.

— Да, что, говорю, — вы, Степан Фёдорович, так переживаете? Я сам вам в два счёта поставлю эту клизму. И без всякой медсестры. Зарубин посмотрел на меня недоверчиво. А у

меня мама, в том самом Растсовхозе работала фельдшером. Разговоры в семье о всяких медицинских мероприятиях шли свободные и границы понятий «стыдно», «стесняюсь», «неудобно как-то» были для меня довольно размыты.

Подумаешь — клизма.

Я авторитетно всё это изложил Зарубину. Сын фельдшера — это уже круто!

Договорились, что рано утром ко мне с «прибором» подойдёт медсестра, и я выполню необходимую процедуру.

Рано утром — ещё не включали радио — медсестра шёпотом меня разбудила. В руках она держала кружку Эсмарха. Вышла. Зарубин уже не спал. Возможно, он и всю ночь не спал. Господи, как будто ему замуж выходить!..

Объяснять ему ничего не пришлось. Разделся. Стал в позу спринтера на старте.

А я, хоть и был сыном фельдшера, но представление о всяких процедурах, об инструментарии имел довольно поверхностное. Под клизмой я подразумевал обычную резиновую грушу с небольшим наконечником. А тут принесли резиновую ёмкость с объёмом литра на два, да ещё с толстым кривым наконечником длиной сантиметров на двадцать. Не зря мой Степан Фёдорович боялся!

Ну, я так подумал — медсестра знает, чего для этой процедуры нужно, опытная, перепутать не могла.

Да и что там: вставил трубку, влил два литра в пациента — и все дела!

Фёдорович стоял, ждал. Я приступил. Сейчас сделаю — и обратно спать лягу. Но… Не пошёл наконечник. Я тихонько его вводил, но он как будто во что-то упирался и останавливался. Уж я и так, и этак. Степан Фёдорович кряхтит, терпит. А наконечник кривой. Думаю, может, если его проворачивать, то пойдет? Как по резьбе? И правда, пластмассовая трубка стала уходить вглубь. Наверное, хитрая задница у этого Степана Фёдоровича, если только так с ним получается. Ну, вот, слава Богу! Поднял кружку Эсмарха повыше, жду. Пять минут жду — не идет водичка. Жду десять минут. Пятнадцать. Да, что такое? Выше кружку, ниже — не идет вода. Не хватает, видно, давления. Я тогда крепко сжал рукой сверху резиновую кружку, чтобы вода не вытекла и изо всех сил её сдавил. Против лома нет приёма. Получилось! Шланг отсоединился от наконечника, и вся вода, все два литра мощной струёй вылились на Зарубина…

— Твою мать! — заорал машинист.

Я не знаю… Ну, я же не специально…

Зарубин вприпрыжку, с наконечником, поскакал в туалет. У

него уже не было никакой стеснительности. Он бежал по коридору без трусов и кричал: — Твою мать!!! Твою мать!!!..

Я пошёл за ним. Я хотел принести ему свои извинения. Я же хотел, как лучше… Но в туалете он, едва заслышав из-за дверцы мой голос, стал опять неприлично ругаться матом, и мне пришлось уйти.

Я потом, уже в палате, пытался объяснить, что случилось непредвиденное, что я не хотел. Но кто поверит человеку, который три дня назад ветерану войны поставил на задницу стакан?

Зарубин и не поверил.

Потом независимое расследование определило, что накануне кружкой Эсмарха пользовались женщины и, каким-то образом, туда попал чай. Вернее, чаинки, которые и забили наконечник прибора.

Зарубин всё равно меня не простил.

Лечение препаратами не помогало, и мне назначили день, чтобы откачивать жидкость из моего пузыря. Но…

Мне было шестнадцать лет, и в ту зиму я пару раз прокатнулся на лыжах с самой красивой на свете девушкой. Но два раза на лыжах — и всё.

И вот, когда я оказался в больнице, она неожиданно пришла. А потом стала приходить регулярно. Я не ходил — я не чуял под собой земли, я летал по больнице! Я всякий раз рассказывал этой девушке смешные истории, и она смеялась. А мне так нравилось, когда она смеялась. Наверное, несмотря на свои шестнадцать лет, я чувствовал, я уже понимал, что если девушка тебе смеётся, то ты ей нравишься.

И тут как-то утром врач Боровая, простукивая границы воспаления, не обнаружила их на обычном месте. Они значительно сузились. Потом ещё и ещё. Врачи не могли этого объяснить. Собирали консилиум, все стучали у меня пальцами по спине. Жидкости не было

Плеврит сдал позиции, и через несколько дней состояние моего здоровья пришло в норму.

А болезни уже и не могло быть места в моём организме.

Потому что его весь уже заполнила Любовь…

Шенк

Мой преподаватель по баяну Виктор Фёдорович Меркушев посоветовал мне после десятого класса поступать в культпросвет. Два года я проходил в музыкальную школу и, как мне показалось, в музыке преуспел. Наверное, это показалось и моим учителям: они выдали мне Свидетельство об окончании этой музыкальной школы, в которой учиться нужно было три года, а я уже через два уже играл «Амурские волны», пьесу, которая завершала курс самоучителя игры на баяне. И — чего меня ещё держать?

На прощание Виктор Фёдорович посоветовал мне идти прямой дорогой в культпросвет, на отделение оркестра русских народных инструментов. В общем — продолжать свою блестящую музыкальную карьеру.

Экзамены в культпросвет я сдал блестяще. Что должно было меня насторожить. В девятом-десятом классе в учебных дисциплинах я не блистал, и будущему Рихтеру баяна учителя, случалось, даже за четверть, выставляли двойки.

Уже через две недели занятий в культпросвете преподаватель физики и математики Карл Каламанович Зайнуллин всему нашему курсу авторитетно заявил, что Дунаенко он на все предстоящие два года обучения освобождает от занятий. Слушателям были предложены задачи. Пока шло «два умножить на два» и «три умножить на три», аудитория кое-как ещё справлялась. Но, когда Карл Каламанович спросил, сколько будет «корень квадратный из четырёх», вся группа оказалась поверженной в ступор. Очевидно, само это жуткое сочетание слов — «корень квадратный» произвело на рекрутов культурного фронта такое шокирующее впечатление, что тишина в классе зависла… И тут я бесстрашно поднял руку. И в тишине ясно и чётко произнёс правильную цифру ответа.

Изумлению одногруппников не было границ. Карл Каламанович улыбнулся, потом улыбка его озвучилась сдержанным хихиканьем. После чего от занятий физикой и математикой я был освобождён с гарантией выставления мне в дипломе самых отличных оценок.

Ну, и с музыкой у меня поначалу шло всё замечательно. На переменках я брал в руки баян и наигрывал свои «Амурские волны», «Ямщик не гони лошадей». Публика, конечно, не сильна была в математике, но в основном состояла из музыкально одарённых подростков. Которые на эту самую музыку, едва её где-нибудь заслышав, слетались, как пчёлки на мёд. И вот я сидел где-нибудь в центре внимания, а народ меня слушал.

От конкурса им. Чайковского меня отделяли каких-то несколько пустяковых лет.

И вот в это самое благодатное время, когда я был на пике своей музыкальной карьеры (я тогда, правда, не знал, что это уже был пик), мне сказали, что со мной хочет поговорить один заведующий клубом. Его звали Владимир Генрихович Шенк, а его сельский клуб находился в двадцати верстах от Актюбинска.

Шенку нужен был художественный руководитель. Он пришёл к нам в культпросвет, навёл справки и решил, что — вот оно, его художественно-музыкальное счастье — Саша Дунаенко! Мне этот завклуб так объяснил ситуацию: на баяне он может и сам играть. Но — злые языки на него капают, что за своё умение он, пользуясь служебным положением, начисляет себе лишнюю заработную плату. А советский народ приучили в таких случаях не дремать. И Шенк — от греха подальше — решил пригласить в штат отдельного баяниста. Тем более, что на носу был районный смотр самодеятельности, где нужно было не просто выглядеть на уровне, но и получить первое место.

Мне ужасно польстило, что слава о моём мастерстве уже покатилась по Актюбинской области. Ломаться я не стал. Тем более что за мою работу Шенк пообещал ещё и какие-то сумасшедшие деньги.

Смотр я провалил.

Нет, сыграл я там неплохо. И обработки аккомпанемента хору и солистам приятно ложились на слух. Но…

Вот на небесах — оно расписано, кому лётчиком быть, кому врачом, кому — музыкантом. Я пошёл в музыканты, потому что в молодости перед нами открыты все дороги, все пути. И мы не только можем пойти, куда угодно, мы, куда угодно, и идём.

Я тогда не знал, что, для того, чтобы стать музыкантом, нужно не только любить музыку, не только иметь замечательный слух. Музыкантом нужно родиться. А, если ты родился парфюмером, то, как ты не загоняй себя в гаммы и арпеджио, как ни мучай часами пиликания на скрипке, натиранием мозолей на гитарах и балалайках — ничего из этого не выйдет! Бросай фортепиано, иди и — нюхай!..

И вот для того, чтобы мы выбирали в жизни правильную дорогу, для этого время от времени жизнь устраивает нам экзамены, смотры художественной самодеятельности. Щёлкает по носу, по голове. Если не помогает — жёстко даёт под зад пинка.

Ну, представьте себе: выставили на сцене хор. Там человек сорок — уже и не помню, но — полная сцена. После первого ряда — на лавочки поставили, чтобы было видно каждого солиста, дальше — на столы. Все нарядные такие, торжественные. Первая

песня, про то, как Ленин побывал в каждом из нас: «Ленин в тебе и во мне!».

Я — сбоку, на табуреточке. Тоже нарядный, при галстуке.

Объявили номер. Замер зал в предвкушении партийного удовольствия. Вдохнул и напрягся хор.

А я… А я — забыл с какой клавиши начинать. Что-то задумался. Может, о той же Партии что-то думал. Может — о Ленине. Может — о хоре — как он стоит красиво и торжественно.

Ну, в общем — хор вдохнул, красиво стоит, а я в полном смятении вспоминаю, с какой же клавиши начинать мне свой профессиональный аккомпанемент. А, чем больше думаешь, волнуешься, тем всё безнадёжнее…

Получилось, что выдержал паузу, как лучший артист Московского театра. И уже в момент, когда всем казалось, что всё рухнет, что всё накроется к чертям собачьим, в самое последнее мгновение я нашёл клавишу. Хор выдохнул…

Ну, место на смотре нам дали. И не самое последнее.

А с Шенком у меня состоялся потом серьёзный разговор.

Я, как обычно, приехал к нему в клуб, чтобы проводить репетиции, но моих артистов не было. Вместо них за обшарпанным столиком сидел Шенк с бутылкой портвейна. Пригласил к столу меня. Я тогда спиртного не употреблял совсем, поэтому просто присел рядом на табуретку.

Завклубом в гранёный стакан налил вина. Держал его короткими, толстыми, в густых рыжих волосинках, пальцами. И был он седой, лысый и старый.

Шенк в двух словах объяснил мне, что у него, хоть слуха и нет, но он никогда не сбивается, если играет на свадьбах, или кому аккомпанирует. И эту его способность в посёлке сейчас по достоинству оценили, и даже плюнули на то, что деньги за художественное руководство он будет начислять себе. Не мне, то есть, как уже было установилось, а, как раньше, себе.

Всё познаётся в сравнении. В данном случае сравнение оказалось не в мою пользу.

А. ко мне у Шенка очень хорошее отношение. Он меня уважает. Ему со мной интересно и поговорить. И послушать мою игру.

И тут он разговорился.

Стал вспоминать молодость. Про то, как, вместе с родителями помыкался по ссылкам. Как им регулярно нужно было отмечаться в комендатуре, потому что немцы, потому что ссыльные. Как их там по чуть-чуть унижали: «Руки как держишь?!.. В глаза смотри, в глаза!..». Потому что, исходя из национальности, были они враги Родины. Вот он, Володя Шенк, в

ссылке родился и уже сразу — враг.

Семья врагов Родины жила в посёлке Богословка. Жила тихо, смирно, не высовываясь. По вечерам Володька Шенк, как и другие подростки, ходил в сельский клуб, на танцы. Из дома приносили пластинки, крутили их на простеньком проигрывателе. Танцы, да ещё под музыку! Объяснять ли, какой получался праздник, когда тебе ещё вдобавок столько лет, что ещё ни разу не целовался, до девушки не дотрагивался, и каждый вечер хотелось жениться. И музыка была невыносимо заводной, и свет слабой электрической лампочки казался блеском роскошной хрустальной люстры.

Конечно, Шенк всё это излагал проще, усиливая периоды речи сочными матерными вставками, но общая картина была именно такой.

— И вот — рассказывает Шенк, — пришёл он, как обычно, на танцы в субботу вечером со своим другом, Никитой Кучугурой. Топтались под музыку, тесно прижавшись к девчонкам, выходили на улицу покурить. И всё время у Шенка перед глазами вертелась дочка начальника местного военного гарнизона, Элечка Стексова. Юбочка коротенькая-коротенькая, взлетает при каждом движении. Кофточка полупрозрачная на чёрном лифчике. И всё время перед Володькой туда-сюда. Ещё так — обернётся, взглянет через плечо, усмехнётся!.. Волосы длинные, светлые…

Красивая, зараза, но Шенк в её сторону старался и не смотреть. Дочка начальника гарнизона!.. Дотронешься — и ты уже не жилец. Родители враги Родины, сам Володька из этого же змеиного гнезда. Тут достаточно даже неосторожно посмотреть.

А как тут не смотреть?.. Вот, подошла Элечка, прямо перед Володькой встала спиной, пластинку на проигрывателе поменять. Приподнялась на цыпочки, нагнулась, чтобы иголку поставить… Юбочка короткая… Как будто специально…

И, в какой-то момент, скрипнул Володька зубами и прошептал, глядя на смеющуюся Элечку: — Ну, я тебя сегодня выебу!..

И вот это уже прочно, решительно засело у него в голове. И никакие инстинкты самосохранения уже в нём не работали. Чья дочь, что с ним может быть потом — ни о чём уже Володька не думал.

Вышли покурить с Никитой Кучугурой, Володька ему так и сказал: — Помоги, дружбан, эту заразу…

А Никита, что? Надо, значит, надо.

После танцев шутили возле Элечки, с ней разговаривали. Потом взялись её до дома проводить. Потому что темно уже и одной идти страшно. А у Никиты с собой китайский фонарик был.

По дороге девчонку схватили с двух сторон, затащили в кусты. Элечка не кричала, только сильно отбивалась и всё старалась укусить. Но Никита держал крепко. Даже посветил Володьке фонариком, когда тот что-то завозился.

— А пиздёнок у ней ещё совсем лысый был, — рассказывал Шенк, кротко улыбаясь юношеским своим воспоминаниям… — Дёргалась она, вертелась… Узко у ней там было… А я — молодой! Я бы тогда и через трусы ей всё пробил…

Потом девчонка вырываться перестала. Никита ушёл. Другу помог — чего тут рядом стоять? Шенк завершил своё мстительное дело. Эля всхлипывала, лежала, не двигаясь.

Володька сидел рядом, пока она не зашевелилась, потом сделала попытку встать. Володька ей помог, хотя Эля пыталась от него отстраниться.

Потом проводил её домой. Не рядом, а так — поодаль…

Шенк и Кучугура неделю прятались по сараям. Боялись, что Эля расскажет всё родителям и тогда обоим конец. Шенка бы, с учётом его происхождения, Элин папа смешал бы с землёй. А сверху бы танком прикатал Кучугуру.

Но всё обошлось. Начальник гарнизона Стексов получил новое назначение и вскоре вся семья из Богословки уехала. Ничего никому Элечка не рассказала…

Шенк вылил в гранёный стакан остатки портвейна. В мужских компаниях это означает конец разговора.

Мы расстались друзьями.

Я продолжал учиться в культпросвете ещё два года.

Хотя уже точно знал, что ни заведующего клубом, ни музыканта из меня не получится никогда.

Партизанские были

В последний год учёбы в культпросветучилище нам, будущим выпускникам, полагалось какой-то срок отработать практику в одном из клубов области. Потому что мы все, учащиеся Актюбинского Республиканского культпросветучилища, независимо от специализации, готовились быть, в первую очередь, клубными работниками. То есть, как предсказывал нам наше будущее преподаватель всех точных наук Карл Каламанович Зайнуллин — в любое время года открывать и закрывать замок на здании сельского клуба.

Руководство училища к практике своих воспитанников относилось дифференцированно. Например, наше отделение русских народных инструментов направили с концертами по области. И практика — мы могли своими глазами увидеть десяток-другой клубов и домов культуры, и — удовлетворение некоторых материальных интересов: на концерты продавались билеты.

Концертная программа состояла из нескольких компонентов: выступление оркестра, выступление домбриста-виртуоза Момына Байганина, песни русских и казахских композиторов в сопровождении оркестра. И ещё, конечно, с нами ездил конферансье — щеголеватый, подтянутый мужчина, который на сцене, в промежутках между номерами, профессионально шутил. Имени его я сейчас уже не помню, да оно и не имеет никакого значения, потому что, когда перед концертом в посёлке Бугетсай, вдруг выяснилось, что у нашего конферансье вдруг схватило горло — то заменять его выставили меня. А чего запоминать имя человека, который уже потом никогда в жизни не встречался. Вот мне сегодня Абдулов приснился. Лицо в гриме — он какого-то Пьеро играл, приехал на гастроли в Актюбинск. Ну, мы с ним ещё поговорили. Оказывается, когда-то мы с ним даже сфотографировались на фоне овощного прилавка. Я в тулупе и с бородой, а Абдулов — рядом стоял и чему-то радовался. Ну, так вот — Абдулова я почему-то запомнил, хоть и побыл с ним во сне всего минуту, а того конферансье — нет.

Несмотря на то, что мне пришлось его замещать.

Я так думаю, что на нашего руководителя оркестра, Сергея Георгиевича Цхе, я производил впечатление парнишки башковитого, хотя, как музыканта, возможно, и бездарного. Ну и, когда с конферансье случилась такая непредвиденная беда, меня уполномочили объявлять номера. Дикция у меня чёткая, лицо интеллигентное. А я и не стал сопротивляться. Во мне всегда

сидела авантюрная жилка, которая заставляла ввязываться, порой, в весьма сомнительные предприятия. Ну, там — художественным руководителем, не имея ни одного часа опыта работы с коллективом, либо — Дедом Морозом на детские утренники. Я думал, что мне дадут Снегурочку и чуть не согласился. А, когда мне сказали, что Снегурочки не будет, что я должен делать ВСЁ САМ(?) и мне дадут за это три рубля (купишь водки бутылку, за два пятьдесят две, конфет!..) — я отказался категорически. Ещё вдобавок — приходить со своим костюмом Деда Мороза!

Нет.

Я отказался.

А сегодня — конферансье? Почему бы и нет?..

Ну и немного о погоде. На улице и в Доме культуры посёлка Бугетсай стоял декабрь. Мороз — если снять с руки варежку и оставить в воздухе, то она зависала. Причём, без разницы — тестируете вы погоду снаружи Дома культуры, или внутри.

А выступать нам надлежало в белых рубашечках, с бабочками. Рубашечки были модными, нейлоновыми, так что заметно не согревали. На Сергее Георгиевиче ещё был фрак — ему было теплее. Народ в зале собрался одетым по сезону: фуфайки, тулупы. Начальство в коротеньких дублёнках и унтах. От дыхания в помещении собирался пар. Но особо зал к началу концерта не прогрелся.

Теплее стало, когда заиграла музыка. «Кармен» Бизе, «Травиата» Верди, Чайковский, сцена из балета «Лебединое озеро». Потом вышла Александра Палий, и стало ещё теплее. У Александры был мощный голос, который вполне соперничал с полнозвучным сопровождением оркестра. Она пробовала раньше, как все, выступать с микрофоном, но у каждого, чуть ли не сразу, лопались перепонки. Александра спела «Заздравную» Дунаевского, и в зале наступило лето. Лиза Касьяненко пела тихо. Ей без микрофона никак. Но очень проникновенно она исполняла «До чего же он горек, сок рябины зимой!..». Суровый Сергей Георгиевич всегда в этом месте смахивал дирижёрской палочкой, случайно набежавшую, скупую мужскую слезу.

Я объявлял.

Всё шло, как по маслу.

И тут случилась заминка. Обычно всякие паузы в концерте у нас заполнял наш ковёрный конферансье. Но его не было. Вместо него был я, но заполнять паузы между номерами меня никто не учил. — Кто, если не я? — подумал я. И пошёл к микрофону.

А в детстве я очень любил читать книжки про войну. И мне запомнился эпизод из жизни и работы советских партизан. Наши

партизаны были не только смелыми, но и хитрыми. Для того, чтобы свободно передвигаться по тылам немцев, они сформировали агитбригаду. И разъезжали себе, распевая песни, по оккупированным русским сёлам, собирая попутно сведения о живой силе и технике в фашистских войсках. О концертах своих объявляли заранее. Для того, чтобы привлечь внимание, использовали в заголовках такую надпись: «Съедение живого человека». И зрителей никто не обманывал. На концерте, действительно, объявлялся этот номер — «Съедение живого человека». На сцену приглашался желающий быть съеденным. Обычно желающего не находилось, и концерт продолжался.

Но однажды желающий нашелся. Вернее, «желающая». На сцену вышла девушка в лёгком летнем платьице и предложила себя для эксперимента. Но наш конферансье-партизан не растерялся. Он сказал девушке: — Раздевайся! — Потому что не хотел он её есть, вместе с туфлями, бельём и ситцевым платьем. А девушка тогда смутилась, покраснела и убежала со сцены.

И я, вооруженный на всякий случай, хитростями наших партизан, вышел к микрофону и объявил номер «Съедение живого человека». Всё шло, как по писаному. Ну, прямо, совсем, как в той книжке, буква в букву. Как только я объявил свой смертельный номер и по рядам прошёл, прокатился первый смешок, откуда-то из середины зала поднялся молодой парнишка и стал протискиваться к сцене. — Ну, блин, — подумал я, а на публику стал кричать, как я рад, что нашёлся такой смелый человек, что, наконец, можно будет перекусить кем-нибудь свеженьким, а то всё консервы, да консервы…

А паренёк-то и вот он уже, на сцене. И уже стоит напротив меня, ждёт аттракциона. Глаза голубые, ватник, ботинки. Да, именно ботинки, не валенки, не сапоги. Это я сильно запомнил. Потому что, когда я сказал парнишке, что ему нужно раздеться, что одетым я его есть не буду, он стал раздеваться. Фуфайку стал снимать, стягивать свитер. Я взялся ему помогать: привстал на колено, начал ботинки расшнуровывать. Трудно было, шнурки заледенели. Попутно думал, что бесконечно это всё продолжаться не может. Всякой сказке приходит конец. Сколько верёвочке не вейся, а одежда скоро кончится.

И, правда. Одежда кончилась.

На парнишке остались только длинные семейные трусы, которые сейчас опять стали входить в моду.

Он стоял и смотрел на меня своими чистыми голубыми глазами. Я отпустил ботинок, который держал в руке — и ботинок остался висеть в воздухе. Пой не пой, а зимы всё-таки ещё никто не отменял. Мороз крепчал. На мне была нейлоновая

рубашка с бабочкой и брюки. А на мальчишке — только трусы.

Я жёстко скомандовал: — Снимай трусы!

Можно догадаться, что всё это время публика к происходящему на сцене не оставалась безучастной. Хохот, одобрительные крики. В общем, пауза заполнялась нормально.

Мальчишка взялся руками за те место на трусах, где была резинка, и сказал нерешительно: — Нет… Нельзя…

Я так думаю, он за резинку держался на всякий случай. По-моему, у него были подозрения, что я с него могу снять эту последнюю тёплую одежду. И, если я думал, что у мальчишки, возможно, не все дома, то не исключено, что и обо мне он был похожего мнения. У меня в запасе была ещё пара попыток заставить этого представителя мирного населения сбежать со сцены. И я крикнул ещё два раза: — Снимай трусы, не могу я тебя одетого кушать!..

А потом — я понимал, что проиграл, что это мой позор, — потом я сгрёб в охапку всю его одежду — штаны, фуфайку, свитер — всё, что зима заставляет человека надевать на себя, и насильно вытолкал со сцены. Под хохот публики и аплодисменты, которые были, неизвестно кому, а, скорее, известно — не мне, это точно.

После этого я уже не заполнял пауз между номерами наших дальнейших выступлений, какими бы длинными они не случались. И даже не объявлял эти номера.

После концерта Сергей Георгиевич смотрел на меня волком, хотя ничего не сказал.

Чувствую, что я заставил его сильно засомневаться в моей башковитости.

После сдачи государственных экзаменов я окончательно забросил свою артистическую карьеру.

Стал руководителем фото-кинокружков на областной станции юных техников.

ТВ нашего прошлого

На телевидении я начал работать в начале семидесятых. На областном телевидении города Актюбинска.

Телевидения бывают разные. В Советском Союзе они делились на Центральное, то, что в Москве, Республиканские — по одному в каждой столице братских и свободных республик и — областные.

На областном телевидении много чего не было по сравнению со столичным. На тот момент, когда я стал готовить свои передачи, в Алма-Ате уже вовсю использовали видеозапись. У нас все программы шли в прямом эфире. Что, конечно, дисциплинировало. Никаких тебе дублей, оговорок, никаких почесать нос. И чесаться, и чихать можно было уже только после эфира.

Большим, знаковым событием стало для нас получение первого видеомагнитофона. Разумеется, не нового. Модель уже прошла в Алма-Ате и Крым и Рым. Это в столице установили новый, а нам уже досталось счастье с барского плеча.

Это счастье занимало большую комнату. Большие — в один обхват катушки с видеолентой. Постоянное жужжание приборов.

Но эта видеозапись практически ничем не отличалась от прямого эфира. По-прежнему, нельзя было ничего исправить, добавить. Вся передача записывалась без остановки от начала до конца. Единственным плюсом было то, что передачу можно было записать заранее, а потом поставить в удобное время. Ну и, конечно, повторить.

Но мы смотрели Центральное телевидение. И нам тоже хотелось делать передачи живые, в которые можно было собирать самые ценные фрагменты из многочасовых записей. Делать видеофильмы. Но до этого было ещё очень далеко. И приходилось выкручиваться.

Однажды призвал меня к себе наш главный редактор, Геннадий Иванович Ерофеев. И сказал: — Скоро, Саша, выборы. Нужно нам сделать какую-нибудь передачку о депутатах. О тех, кто пойдёт голосовать. Желательно — кто пойдёт голосовать в первый раз. У меня в голове мелькнуло — «и — в последний?», но вслух я не переспросил своего начальника.

Созвонился с пединститутом. Нужен, говорю, человек, который будет голосовать в первый раз. Пединститут сказал: — Пожалуйста! Прислали ко мне красивую девушку-казашку. Круглая отличница. Комсомолка. Стал я с ней разговаривать про голосование — никаких эмоций. Ну, как у всякого нормального

человека. Но ведь, блин, отличница? Комсомолка! Что она, на собраниях у них там, в пединституте не выступает?

Бился целый час — ничего не получается. И тогда сказал я своей героине: — А, давайте, я вам текст напишу, а вы его потом и перескажете? Девушка согласилась. Куда нам обоим было деваться?

А я вообще не сторонник был никаких заготовок, всяких там чтений по бумажке. А здесь… Ну, что делать?..

Сел я и написал от лица девушки, как ещё с детства она запомнила эти радостные, счастливые дни голосования. Музыка на улицах, нарядные родители, улыбки на лицах людей, которые шли отдавать свои голоса за единый блок коммунистов и беспартийных. Что-то около странички машинописного текста. Отдал отличнице-комсомолке. Вечером сел смотреть свою передачу. Даже я чуть не заплакал. Будущая учительница, глядя прямо в камеру, с выражением, ярко, искренне рассказала о том, какие она испытывает чувства накануне своего первого голосования. О своих родителях. О музыке на улицах. Слово в слово по тексту, до запятой. Я слушал и не верил, что всё это написал я сам…

Наверное, правда, она была лучшей в Актюбинском пединституте.

Задумал я как-то цикл передач «Чем больше от сердца отрываешь…».

«Вовеки не загнивает Вода в дающих колодцах. Чем больше от сердца отрываешь — Тем больше его остаётся…».

Я зачитывал строки стихотворения Вознесенского и предлагал прокомментировать их, высказать свою точку зрения, привести примеры из жизни. Предлагал группе учащихся, рабочих, студентов… Хотелось, как в Москве. Но — как? Видеозаписи нет. Монтаж невозможен. Интереснейшую беседу записал на магнитофон со старшеклассниками, но как её перенести на экран? Второй раз они уже так не скажут. И потом — в советское время ничего не говорили прямо в эфир. Хоть и эфир был прямой. Нужно было написать сценарий, который скреплялся печатью цензуры. Потом передачу просматривали на «тракте», репетиции перед эфиром. И только тогда… Понятно, что от живой беседы в такой передаче места не оставалось.

Я переписал на бумагу свой разговор со старшеклассниками. Выбрал самые яркие места. На тракте раздал кусочки текста моим героям и объяснил ситуацию: — Всё это говорили вы, но у нас двадцать минут, в которые нужно высказать самое главное. Разыграли, как по нотам.

Я знаю, что, как в Москве, не получилось. Но я и мои ребята

хотели. Старались…

А вот ещё история с магнитофонными записями.

Придумал я передачу на «производственную» тематику. Как любовь влияет на производительность труда. Почти «Свадьба с приданым». Пришёл на завод «Актюбрентген», где меня уже хорошо знали. Я о передовиках производства с этого предприятия передачи делал неоднократно. Но и мне, и моим друзьям с «Актюбрентгена», конечно же, разговоры о соцсоревновании и перевыполнении планов давно уже до чёртиков надоели. А вот про любовь… Любовь для советского человека являлась чувством второстепенным, если только не была адресована к Партии и Правительству.

Я хотел поговорить о любви обыкновенной. Той самой, второстепенной.

И, хотя сочетание «любовь» и «производительность труда» выглядело несколько наивным, разговор на эту тему вызвал интерес. Я не устраивал коллективных обсуждений. Разговаривал с каждым рабочим отдельно. Беседу записывал на магнитофон. Визуально высказывания моих героев должны были сопровождаться фотоснимками.

Мне доверяли. Поэтому разговор был совершенно свободным. Я предупредил, что запись впоследствии будет редактироваться, если что — какие-то неловкости будут исключены. Ну, и… Простой разговор в рабочей среде не обходится без слова «мать» и сопутствующих ему сочетаний. Я принёс записи в звукоцех. Сказал режиссёру звука Люсе Карташовой, что нужно «почистить» запись. Стали монтировать по тексту.

А магнитофоны на нашей студии были ещё с тех времён, когда Попов изобретал своё радио. Люся когда-то училась в Ленинградском институте и рассказывала, что у них в учебниках описывались профессиональные магнитофоны первых лет Советской власти. Когда Люся устроилась к нам на работу, она их не только увидела. Она потом на них работала ещё десять лет.

Магнитофоны по размерам были, чуть больше стиральной машины. Монтировать на них было непросто. Чтобы «откусить» ненужную часть записи, нужно было уловить момент и включить второй магнитофон, который уже писал разговор дальше, в «очищенном» виде. Но этот момент нужно уловить. В нашем случае многократно повторялась звучная частичка «ёб». Люся была женщиной тихой, домашней. Целомудренной. И тут — такое безобразие. Но работа есть работа. Как назло, не всегда это самое «ёб» удавалось «обрезать» с первого раза. Сливалось оно с основной фразой иногда настолько плотно, что точность требовалась ювелирная. Раз за разом Люся включала оригинал,

второй магнитофон… — «Ёб»! — рявкала звуковая колонка — опять проскочило! Пятый. Пятнадцатый раз… Люся стояла у своих динозавров красная и прекрасная.

Но ещё была она истинным профессионалом. Люся сделала хорошую, качественную, запись.

Мы с завистью смотрели на Москву, на её техническое оснащение. На то, как свободно дикторы, ведущие говорят прямо в объектив камеры. Режиссёр Валя Князькова укоряла меня: — Зачем ты перед собой держишь бумагу? Ведь ты сам пишешь себе тексты!

Режиссёрам вообще трудно объяснить, что собой представляет процесс написания сценариев, информаций. Их работа — чего-нибудь кричать и размахивать руками. Я не мог объяснить Вале, что писать стихами и говорить стихами — это разные жанры. И я — говорить не могу.

Потом я узнал, что у дикторов и ведущих солидных студий есть специальные прозрачные экраны, телесуфлёры, на которых прямо перед глазами ведущего движется текст. Ларчик открывался просто.

Вне телевизионной своей жизни по молодости лет я интересовался и увлекался всем, чем попало. Музыка — джаз, рок, живопись — абстракции, сюрреализм и пр. И хотелось, конечно, как-то вынести всё это на телеэкран, поделиться с актюбинским зрителем. Но Сальвадор Дали и Элвис Пресли были явными антисоветчиками. Ну, и все остальные там, Элисы Куперы, Джимми Хендриксы. Мир, чуждый советскому человеку. Тлетворное влияние. Разврат. К чему призывал, к примеру, Мерл Тревис в своей знаменитой песне? Ясное дело — к половой разнузданности. От прослушивания его похабных ритмов до измены Родине — один шаг.

И попалась мне как-то на глаза тоненькая книжка «Музыка бунта». В ней давался обзор современной музыки. «Оркестр Махавишну», «Дип Пёрпл», «Роллинг стоунз». Про всех можно было уже, хоть что-нибудь, прочитать. Но — в «правильном» ключе. Оказывается, все эти западные ансамбли, рок-группы терпеть не могут капитализма, среди которого живут. И потому так неистово кричат на весь мир, даже разбивают гитары.

Ну, я этой книжке очень обрадовался. Я увидел возможность внести свой вклад в борьбу с мировым злом. Быстренько сел, накатал сценарий передачи, которую так и назвал: «Музыка бунта». У знакомой девушки взял двухтомник по модернизму. И наделал из него репродукций всех самых поганых, всемирно известных, западных художников. Анри Валенси, Йожеф Чаки, Андре Лот, Оскар Кокошка, Ле Корбюзье, Пьер Корнель.

Передача проходила так: я в кадре клеймил всякими последними словами язвы капитализма, используя ссылки и сноски на замечательную книжку «Музыка бунта». В паузах звучала музыка «Doors», «Creedence», «Rolling Stones», «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Elvis Presley».

А зрителям в это время, в качестве иллюстраций показывали репродукции вредных художников. Пятна и искорёженные фигурки на их картинах явно свидетельствовали о том, что и художники не в стороне от классовой борьбы. Они бунтуют. И, в общем, они — с нами. Хотя, конечно, многого ещё не понимают.

Само собой, никакие «фирменные» диски в передаче не звучали. Я пользовался только легальными, «открытыми» каналами. В магазине «Мелодия» в свободном доступе лежали пластинки с безобидными названиями: «Мелодии и ритмы», «Субботний вечер», «Музыкальная лестница». В них иногда просто «насыпью», один за другим, были записаны зарубежные хиты. Часто, даже без названия автора и произведения. Что и оказалось весьма удобным для публикации в областном эфире.

В покупке «фирменного» диска я только однажды принял участие. В музыкальном отделе магазина подошёл ко мне молодой человек и предложил «Smoke On The Water» Deep Purple. А я, блин, колхоз. Внутри аж похолодело. Настоящую «фирму» предлагают. А я — ни в зуб ногой, ничего в этом не понимаю. Но виду не подал. Ответил спокойно, что, в принципе, можно было бы, но — надо прежде послушать. Фирмач со мной согласился. Договорились о встрече у меня дома. Парень в условленное время пришёл. Мы с другом Павликом уже с нетерпением его ожидали. Продавец извлёк из конверта своё сокровище, передал мне. Моя «Вега-стерео» даже слегка присела от уважения к диску.

С тайным благоговением все втроём прослушали. После паузы заговорили о цене. Фарцовщик сказал, что вообще они расходятся по двенадцать. Нам он согласен уступить за девять. Очень деньги нужны. Я подумал, подумал. Импортные пластинки в магазине продавались по три рубля. Девять — это выглядело как-то уж слишком. И сказал, что за девять не могу, а вот за шесть — пожалуй. Мы ещё немного пообъяснялись, но сторговаться не удалось.

Спустя какое-то время узнал я, деревня, что девять — это девяносто рублей. И что я сам предлагал за импортную пластинку шестьдесят! При моей зарплате в сто двадцать.

Хорошо, что «фирмач» не согласился.

И в чём прелесть провинциального телевидения: никто не заметил этого смелого прорыва в общем потоке тихих однопартийных передачек. Никто не похвалил, никто не упрекнул

в завуалированном инакомыслии. Прошла передача — будто её и не было.

Не стало и тех нескольких десятков фотографий, репродукций из редкого двухтомника о модернизме. Они бесследно куда-то пропали, сразу после передачи.

Главным редактором меня назначили совсем неожиданно. Работал я на тот момент кинооператором. Был, так сказать, на телевидении простым рабочим парнем. Но в руководящих наших элитах что-то не заладилось с главными редакторами. Мудрейший Геннадий Иванович попал под колпак КГБ. В Советском Союзе КГБ входил в состав семьи. Вместе они составляли ячейку советского общества. КГБ всегда думал о нас. Мы — о НИХ.

Геннадия Ивановича не уволили, но с должности убрали. Молодой Афанасьев уехал в столицы. Начальство недели две в раздумьях водило пальцем по творческому коллективу, и палец упёрся в меня. Хорошее образование: факультет журналистики МГУ.

Я согласился сразу. Потому что привык кидаться, куда попало, не глядя. Наверное, авантюрист. А сам внутри чувствовал, что начальник над журналистами из меня никакой. Нужно уметь отругать, срезать премию, приласкать повышенным гонораром. Нужно быть политиком. Вот Геннадий Иванович это умел. Пройдётся по редакции, заглянет в режиссёрскую. Там слово тихонько скажет, там — два. Потом садится у себя в кабинете и с удовольствием слушает, как в редакции кто-то кому-то в волосы вцепился, кто-то в режиссёрской валерьянку пьёт. А он, Геннадий Иванович, при всём при этом оставался как-то в стороне.

А я ничего этого не умел.

Но согласился сразу. Подумал: научусь.

Какой солдат не мечтает стать генералом!

В обязанности главного редактора входило всякий раз по понедельникам выступать с итоговым словом по передачам, которые прошли за неделю. Выступали обзорные, потом — главный редактор. Я новичок. Но уже две-три недели, как начальник. И уже выступал. И вот новый понедельник. И мне нужно выйти, подвести черту под передачами прошлой недели. А я не все смотрел. Ну, про те, что видел, высказал своё начальственное мнение. Но была ещё одна передача, про которую нужно было обязательно что-то сказать. Очень передача важная. Нужная. Из ряда тех, за которые журналистам зарплату платят.

Передача — беседа журналиста с высоким должностным лицом из Обкома партии. Ответственным за передачу, её

ведущим был зам. председателя по телевидению Амангельды Мектепбаев.

И вот эту-то передачу я и не посмотрел.

Я мог пропустить, проспать все передачи, но эту посмотреть был ОБЯЗАН! И — куда деваться — я стал нагло врать. Первым делом — что передача нужная, полезная. Напомнил всем, что из-за таких передач и держат наше телевидение. И содержат. Что на передаче поднимались важные вопросы. Которые умело ставил перед руководящим работником Партии наш уважаемый Амангельды Мектепбаевич. И на которые, не менее ловко, руководящий работник отвечал… Я увлёкся… Смотрю — в помещении какой-то шорох. Смотрят на меня коллеги не только с интересом, но и с некоторым недоумением. Шёпот по рядам. Диктор наш, Иван Яковлевич Ушанов, из первого ряда делает мне какие-то знаки. Пришлось самого себя прервать, прислушаться. — Не было этой передачи на прошлой неделе! — осторожно шипел мне на всю аудиторию Иван Яковлевич. — Как? — я переспросил. — У нас с Иваном Яковлевичем завязывался странный диалог. — Не было этой передачи на прошлой неделе, перенесли! — наклонившись в мою сторону, шумным шёпотом повторил диктор. — Не было? — Удивлению моему не было границ. И все это заметили.

Нужно было что-то ответить, сказать по этому оперативному поводу. Думать было некогда. Ехидный творческий коллектив в молчании ждал.

Я улыбнулся, как будто услышал новость, весьма для меня приятную. Развёл руками и, не теряя достоинства, и уже с лёгкой грустью (новость, конечно, приятная, но радоваться тут, откровенно говоря, было нечему) произнёс: — А — жаль!..

Оператор Саша Чернухин в задних рядах сполз со стула и рыдал от смеха.

Внутренне я всегда понимал, что, как главный редактор, я определённо не на своём месте.

И всё-таки в этой должности я проработал ещё девять лет…

Прямой эфир

Архинтересно — выражаясь ленинским языком — но при этом архитрудно работать в прямом эфире. Неизгладимый кайф… Просто неизъяснимый кайф ловишь от этого…

Владислав Листьев. «Диалог с самим собой».

Когда-то все передачи телевидения выходили в прямом эфире. Про видеозапись тогда и слыхом не слыхивали, а рассказы о том, что такое понятие существует, воспринимались, как фантастика.

Помнится, уже в конце семидесятых, председатель нашей телерадиокомпании, Михаил Николаевич Козин, после поездки в Москву, рассказывал нам не летучке, что совещание, на котором он присутствовал, снимали на кинокамеру, а потом сразу же и показали. В цвете. По телевизорам, которые находились в фойе.

Мы слушали, разинув рты. У нас ещё снимали кинокамерой на чёрно-белую негативную плёнку. Впереди маячил целый ряд лет перехода на позитивную, потом — цвет. Всё — мокрые процессы обработки. Отснял — жди несколько часов, пока через все ванночки с растворами киноплёнка пройдёт. Хорошо, если плёнка не оборвётся, если не выключат свет. Тогда всё пропало!..

Нам скорых и радостных перспектив с чудесными московскими камерами Михаил Николаевич не обещал. В своей дремучести он далеко от нас не ушёл, а во многом был и ещё и более продвинутым. Так, представляя, что на цветную киноплёнку мы будем снимать ещё при нашей жизни, он рассказывал, что вот-вот мы получим «цветные» кинокамеры и будем выглядеть не хуже, чем Алма-Ата, или же хвалёная Москва.

Михаил Николаевич не знал, что для съёмок в цвете не нужны «цветные» камеры. Достаточно зарядить цветную киноплёнку в обычную…

А — и нужно ли было Михаилу Николаевичу знать какие-то мелочи, подробности, из которых состояла руководимая им организация? В конце пятидесятых партия направила его на этот фронт — возглавить телерадиокомитет — он пошёл. Послала бы партия руководить консервным заводом или трикотажной фабрикой — без проблем. Партийные работники были

талантливы универсально.

Будучи председателем облтелерадиокомитета, Михаил Николаевич принадлежал к номенклатуре обкома партии. А это значит, имел по сравнению с обыкновенными коммунистами значительные привилегии. Ежемесячные продуктовые пайки и много чего без очереди.

Возвращаясь из полезных совещаний, которые время от времени проводились в Москве с руководителями областных телерадиокомитетов, Михаил Николаевич приоткрывал для нас страничку жизни, в которую ему самому позволили заглянуть старшие товарищи, как человеку избранному.

Так, на летучке он рассказал однажды, что водили их, председателей, на спектакль «Мастер и Маргарита» на Таганке. Что скакала там по сцене голая женщина.

И, что он, Михаил Николаевич, будучи человеком с абсолютным коммунистическим здоровьем, спрашивал у организаторов экскурсии: — И как эту гадость позволяют показывать? И почему не запретят?

На что ему такой же привитый, здоровый товарищ ответствовал: — Вот вы посмотрели? И как вам?

— Дрянь! — ответил Михаил Николаевич.

— Ну, вот так и другие. Кто умный человек, посмотрит и сделает правильные выводы. А, кто неумный — так что с них взять!

Сказать, что Михаил Николаевич руководил своей организацией хуже, чем другой партработник авиапредприятием или заводом сенокосилок? Нет.

Всё в нашей стране управлялось равномерно.

Мой первый эфир состоялся в 74-м году. Передача про техническое училище № 7. Был старательно написанный сценарий. Фотографии, которые тоже сделал я сам. Отснятый на киноплёнку видеоматериал.

Дело оставалось за немногим — выдать передачу в эфир. Естественно, прямой.

В обед проходила трактовая репетиция. Группа ответственных товарищей, цензура просматривали то, что журналист хотел показать актюбинцам вечером.

Тогда все передачи ещё вели дикторы. Я вызвался свою передачу вести сам. Что может быть проще — сам написал, сам общался с героями передачи.

Свои возможности я переоценил. Когда включили свет, камеры и микрофон, язык во рту распух у меня до таких размеров, что мог я издавать только звуки, но не слова.

Мне предоставили возможность повторять попытки. Но

ничего не получилось.

Мою первую передачу в прямом эфире прочитал диктор, Иван Ушанов.

Нам довольно быстро дали ПТС — передвижную телестудию. Большой автобус, забитый аппаратурой для трансляции телевизионных передач.

До того все передачи велись только из стационарного помещения на ул. 50 лет Октября, рядом с Обкомом партии. А помещение это размещалось в крыле драматического театра. Было очень удобно — в мае и ноябре трудящиеся приходили ликовать на привычные демонстрации. Из телестудии через окна и двери техники телецентра вытаскивали на площадь камеры, кабели. Для того чтобы показать в эфире эти главные политические события года.

Те из актюбинцев, которые по каким-то причинам на демонстрацию попасть не могли, садились у телеприёмников и, в течение полутора-двух часов вглядывались в колонны демонстрантов, в надежде увидеть своих друзей или знакомых.

Когда потом и те и другие после демонстрации встречались — было много радости: — А я тебя видел! — кричали одни. — А я вам махал! — счастливо смеялись в ответ другие.

И вот театр неожиданно сгорел. Почему неожиданно? Театры издревле обладают такой способностью. Даже есть устойчивое словосочетание: «артист погорелого театра». Если есть театр, то он когда-нибудь обязательно должен сгореть.

Сгорел и наш, Актюбинский областной.

Но это уже не было отдельным, частным огорчением только артистов театра. И не только нас, сотрудников телестудии, оборудование которой сгорело вместе со сценой и декорациями, в которых жили и кипели страсти всемирно известных персонажей.

Сгорела студия, а, значит, была утрачена возможность каждую весну и осень транслировать на область ликование трудящихся по поводу наших самых важных праздников.

Трудящиеся, конечно, праздники эти очень любили. Но потеря возможности помахать в камеру флажком или воздушным шариком, а потом услышать вечером: — А! Мы тебя видели — ты махал! — потеря этой возможности обессмысливала присутствие на этих демонстрациях. Вот ты там вроде был, вроде и прошёл мимо трибун, где стояли вожди в плащах и шляпах, а — будто тебя там и не было.

Вожди такое отношений трудящихся к демонстрациям вслух могли отрицать, но нутром чувствовали, что ситуацию нужно исправлять, нужно быстро что-то делать.

Нет, никто не кинулся срочно отстраивать здание нового

театра. Без театра советский народ может прожить. А вот без телевизора — нет!

И в самом срочном порядке из казахстанской нашей столицы, из Алма-Аты, была доставлена ПТС — передвижная телевизионная станция. Конечно, не новая. Но из тех, которые уже работали на электричестве.

От пожара до прибытия передвижной станции был промежуток времени, в который всех сотрудников телевидения нужно было чем-нибудь занять. В стране Советов была на этот счёт безразмерная отрасль — сельское хозяйство. Куда можно было охапками, вагонами вбрасывать государственные дотации, поддерживать это хозяйство помощью солдат, учащихся, студентов, рабочих городских предприятий. И — как только ни помогали, а очереди за продуктами оставались.

Наш Михаил Николаевич периодически от своих старших товарищей из обкома получал разъяснения по поводу отдельных у нас наболевших вопросов. На которые мы, журналисты, должны были честно, без прикрас, отвечать трудящимся телезрителям.

Так вот, насчёт отсутствия мяса Михаил Николаевич объяснил нам: вообще-то жить мы стали лучше. И, от хорошей нашей жизни, стали больше есть мяса и прочих деликатесов. Вот почему на прилавках сейчас так пусто. Больше стали есть! И — вкуснее!

Мы смотрели на лоснящееся лицо нашего начальника, и вредные политические сомнения, если до того у кого-нибудь и закрадывались, благополучно рассеивались.

Наше вынужденное бездействие выпало на жаркие летние месяцы. Как раз, когда на селе шла ежегодная битва за сено.

Воевать за сено повезли и нас.

Байганинский район. По бескрайним подстриженным полям разбросаны тюки прессованного сена. Их нужно было вилами забрасывать на прицеп. В тени термометр показывал сорок. Естественно, работали мы без зонтиков. Питание — супы, каши и много мяса. Рядом обычная для тех мест речка — цепь продолговатых глубоких водоёмчиков, связанных между собой зарослями камыша. Вода — чистейшая. Хоть пей, хоть купайся, хоть уху в этой воде вари.

В общем, был у нас этакий санаторий с элементами принуждения. Хочешь не хочешь, а селскому хозяйству помогай, а за это купайся, загорай и кушай натуральную, без всяких вредных добавок, деревенскую пищу.

В эти дни я научился материться.

Был с нами телеоператор, Пётр Фаддеевич. И — Ах! Как красиво он матерился! Это была просто песня! Я прямо

заслушивался Петра Фаддеевича. Ни до, ни после я не слышал такого красивого, художественного, мата.

Уже вернувшись из Байганинского района, я долго ловил себя на том, что уже и у меня наполовину вырывалось изо рта начало бесценного обсценного созвучия. Но я задерживал его, прикусывал. Потому что употребление ненормативной лексики всегда было противу правил, установленных внутри меня. Но Пётр Фаддеевич наглядно в своих факультативах показал мне когда-то, что в русском языке нет слов плохих, как и нет самых хороших. Главное — чтобы каждое слово было к месту.

А найти место шершавому, занозистому, неудобному, острому русскому слову доступно только Мастеру…

В эти же знойные байганинские дни возник у меня нестерпимый писательский зуд. Ничего не мог с собой поделать. Рука рвалась к перу, искала его. А потом они вместе набрасывались на любой подходящий кусок бумаги.

В часы обеда, в перерывах я садился за стол, либо распрямлял листок на каком-нибудь ящике и писал своего «Джузеппе»:

«От холода посинело небо. Ветер уносил в обрывки облаков сморщенные осенние листья. Долго не было дождя, и они высыхали, скрючивались, так и не успев пожелтеть. Они умирали молодыми…»

Я много чего тогда там наворотил:

«— Я уезжаю, Хуанита. И только это пришёл тебе сказать.

— Куда?

— Не имеет значения. Ты по-прежнему любишь меня?

— О — о — о!

Поцелуй. И ещё. И ещё. По губам. По лицу. По щекам. Почему она не целует в солнечное сплетение?..

— Как всегда — ты блеск и великолепие. Я от тебя в восторге. Прощай…

— До свидания, Джузеппе…

Лестница. Зубы ступенек. Арка небесного свода…

Свободу! Свободу Луису Корвалану! Руки прочь от Вьетнама! Они же там рис выращивают! Тоже жить хотят!..»

Газеты, радио своими воспитательными слоганами всюду нас сопровождали. И короткая жизнь моего Джузеппе так же проходила под их аккомпанемент:

«Президент Никсон вылетел во Францию… Киссинджер вынужден оставить свои дела на Ближнем Востоке… Лично Леониду Ильичу…Отпустите Анжелу Дэвис! Что вы там с ней делаете? Больше продукции, высшего качества с наименьшими затратами!..».

Наши дорогие, незабываемые 70-е. Когда не было колбасы, но было осознание, что мы самые сильные и самые справедливые…

Почему-то именно в это счастливое время моему Джузеппе приходили в голову мысли, чуждые сознанию советского человека. Может, потому, что он был Джузеппе и, видимо не совсем советский?..

«Жизнь… Она даётся один раз. И смерть тоже. У человека не получается быть хозяином своей жизни. А… смерти?

Среди зверей неудачников пожирают более сильные, более удачливые. У нас давно нет людоедов. Теперь у людей всё выглядит по-умному. Им не зря даны мозги. Они сами убивают себя, несмотря на то, что их мясо никто не будет есть.

Человек — продукт общества. Общество обеспечивает и определённый процент самоубийц. Общество всегда сильнее самого сильного. Общество растит, воспитывает, общество убивает людей…».

В общем — вот такое… Вокруг сено, жара, зной, лексика — больше обыкновенная, чем художественная, а у меня — Джузеппе…

А потом мы вернулись. Техники настроили диковинную ПТС, и в эфир опять стали регулярно выходить передачи Актюбинского телевидения.

Чем хорошо, чем замечательно провинциальное телевидение, так это тем, что на нём в роли телезвезды можно использовать себя напрямую. Меня приняли на работу редактором молодёжных программ. «Редактор» — это так называлась должность. На самом деле ты был и корреспондент, и сценарист своих передач. И — если было желание — и ведущий.

На больших студиях для того, чтобы получить право выходить в эфир, нужно пройти много ступенек.

Рассказывали, что из какой-то столицы однажды приехала съёмочная группа. И кого там только не было! Даже специальный человек, который у оператора в камере объектив кисточкой протирал!

В провинции наши кинооператоры сами себе и объективы протирали, и камеры, если поломка несложная, сами себе ремонтировали.

Ну и — редактор телепрограмм тоже был вынужден быть личностью универсальной.

Актюбинское телевидение 60-х 70-х гг. представляло собой весьма творческую организацию. Создавали студию любители-энтузиасты, поэтому коллектив был пропитан духом слегка возможного авантюризма, желанием придумать что-нибудь передовое и свеженькое. Естественно, в рамках дозволенного.

Я был человеком новым. Молодым. И потому мне больше, чем другим хотелось новизны и авангарда. Когда главный редактор Геннадий Иванович сказал, что нужно сделать передачу про студенческие строительные отряды, я сразу кинулся исполнять. Естественно, моя передаче не должна была содержать штампов, быть увлекательной, интересной.

Вот тут-то мне и пригодился сгоревший драмтеатр. Который находился от нашей ПТС в доступной близости.

Передача о строителях — значит, нужен соответствующий интерьер. Драмтеатр был похож на дом Павлова в Сталинграде. Чем не место, для того, чтобы начать передачу оттуда? Груды кирпича, закопчённые проёмы окон. Изломанные лестничные перекрытия…

Но вести всю передачу оттуда — потеряется темп. Картинку нужно всё время менять. А передача — мы помним время — середина 70-х — передача должна была проходить в прямом эфире.

У нас три камеры. Каждая размером со стиральную машину и — как на цепи, привязана с ПТС длинным кабелем. Одну камеру нацелили на верхнюю точку сгоревшего театра. Оттуда я должен был начинать свою передачу. Две других — насколько позволял кабель — установили в живописном сквере у памятника кизиласкеру Джангильдину.

В сквере на лавочках рассадили группу студентов-стройотрядовцев. Которые должны были давать интервью, а потом сыграть и спеть под гитару.

Ну и — полез я с микрофоном на верхнюю точку погорелого театра.

Вообще во всей этой затее присутствовала некая сумасшедшинка. Прямой эфир. Нужно бегать по каким-то развалинам. Много переключений. Пересечённая местность.

Тут ещё многое зависело от погоды. Но тогда меня окружали эти люди — операторы, техники, режиссёры, которые создавали когда-то себе телевидение, как любимую игрушку. Они все были творцы и таланты. И никто не сказал мне в ответ на мой сумасбродный план, что этого нельзя делать, что много рисков, что в любую минуту возможен срыв. А передача — в прямом эфире…

Но все кинулись — помогать!..

И прошло всё, как по маслу.

Я бодрячком проговорил своё вступление среди обломков разрушенного театра. Потом включили киноканал. И пока диктор начитывал текст, а на экране шли кинокадры о достижениях стройотрядовцев, я кубарем скатился по корявым ступенькам

вниз, а потом побежал туда, в сквер, где нужно было брать интервью…

А потом было выступление самодеятельности. И это получилась лучшая страничка передачи.

Потому что в сквер заглянуло солнце. И в естественном его, контровом освещении красавица-студентка исполнила весёлую песню, в которой сочетались любовь к труду и к отдельно взятому человеку.

Я до сих пор помню эти планы — девчонка с микрофоном, с пышными волосами, которые сияющим ореолом, нимбом окружали её голову…

Ну — повезло. Солнца могло и не быть.

Помню чувство облегчения, почти счастья, когда всё благополучно, без накладок, закончилось.

В телевидении это чувство коллективное.

Прямой эфир — это жизнь, прожитая вместе с участниками передачи, вместе со зрителями в одно время. Мало чем отличается от театра.

Только те, кто делает на телевидении прямой эфир, своего зрителя не видят…

«Танец в противогазе»… Вообще-то это фильм. Документальный. Оренбургская студия телевидения в 91-м году объявила конкурс документальных фильмов на экологическую тематику. К участию в конкурсе приглашались телерадиокомпании, которые расположены в бассейне реки Урал. Уральская, Гурьевская, Актюбинская…

Естественно, рассказать нужно было о том, в каком состоянии находится Урал и его притоки.

Меня на тот момент только-только назначили главным редактором, ну и сразу и эти карты мне в руки: сделать фильм для регионального конкурса.

В те времена понятие «экология» не сильно было распространено. Страна у нас большая, засорять её можно ещё тысячу лет, никто и не заметит. Какая тут экология? Но зашевелились уже в разных местах защитники рек и лесов, журналисты. Слово «экология» стало входить в моду, как «спутник», «космонавт», «перестройка».

Я тоже не был экологом от рождения. Ну, раз сказали — сделать фильм, значит нужно делать.

То, что меня назначили главным редактором, не давало мне никаких преимуществ. У меня за годы пребывания в этой должности так и не выработалось основное для начальника качество: запугивать окружающих. Я стал главным редактором, но меня никто не боялся.

Поэтому машина, предназначенная мне для съёмок, всё время уезжала куда-то по более важным делам. В нужный момент не находилось оператора. И запись уже готового материала тоже делалась задней ногой: был день зарплаты, все торопились быстрее получить денежку.

Но фильму было суждено стать призёром. Поэтому многие препятствия даже шли ему на пользу.

Один из ключевых кадров — полудохлую рыбку на берегу Актюбинского водохранилища нам удалось снять потому, что накануне в машине нам было отказано. Поехали на следующий день — и нас, вяло двигая хвостом, ждала у берега та самая рыбка. Её не было в сценарии. А, если бы и была, то нужно было бы потратить уйму времени, чтобы всё это найти, подкараулить. Инсценировать, в конце концов.

Обычно для съёмок конкурсных программ за группой закреплялся отдельный оператор. Как правило — лучший.

В съёмках нашего экологического триллера приняли участие практически все операторы. Я просил, к примеру, Серика Айжанова, который ехал на съёмки на Актюбинский химзавод, снять для меня несколько планов. Говорил, каких — и всё. Серик привозил сюжет. Саша Семиков снял кадры Алгинского химзавода. Толочков — брейк-данс. Саша Карачун — эротическую сцену в реке Илек.

Когда не было оператора, брал в руки камеру я сам…

Фильму было суждено стать призёром, поэтому, спустя годы, мне стало казаться, что он сам себя снимал…

Виолетта Костыряченко… Одна из самых красивых девушек нашего комитета… Я предложил ей сняться в эпизоде. В очень открытом, откровенном купальнике. Естественно, в речке. Потому что река Илек была нашей главной героиней.

Виолетта весело согласилась.

Купальник и действительно, по тем временам, был достаточно призывным. Виолетте нужно было в нём бегать по мелководью, она бегала, тряпочки тонкой ткани готовы были вот-вот соскользнуть.

Саша Карачун, насколько это было возможно, старался сохранять спокойствие, камера хладнокровно фиксировала кадры с нашей восторженной Эммануэль.

Хорошее кино, в том числе и документальное, должно, по возможности, воздействовать на глаза, мозги и уши. Все это будто бы знают, но мало кто воплощает реально в свои творения. Хороший текст — это, действительно, важно. Но, если видеоряд слабый, это уже не кино.

Как часто на телестудиях редакторы, авторы фильмов

прописывают в сценариях необходимую музыку? Звуки? Шум?

Почти всегда полагаются на выбор, вкус звукорежиссёра. В лучшем случае — простое несовпадение с мыслью автора. В худшем — дежурная, слышанная и прокрученная уже в эфире тысячу раз, фонограмма.

Для своего «Танца» я принёс Берта Кемпферта, «Тюльпаны из Амстердама», Чеслава Немэна, «Катарсис», Высоцкого «Утреннюю гимнастику».

До секунды всё расписали, согласовали со звукорежиссёром.

Режиссёром фильма была наша студийная интеллектуалка, Нина Васильева. Ввиду того, что со своими идеями и замыслами я был уже похож на разогнавшийся поезд, Нина корректно посторонилась и просто аккуратно соединила при записи все изобразительные и звуковые куски.

Сама запись произошла как-то между делом, на бегу.

Ассистенты, телеоператоры торопились к окошку бухгалтерии.

Название фильма толком не вписали в кадр, не навели фокус.

Камера! Мотор!!!

Я, конечно, видел накладки, которые возникали по ходу записи. Но не останавливал. Всё записали с первого раза, единым куском. Без дальнейшего монтажа и поправок. Ну, торопятся все. Будет ли лучше?

По сути, это был ещё один прямой эфир. Только первыми его зрителями был коллектив нашей студии.

В Оренбурге наш фильм занял первое место. Потом его ещё показали по Второй Всесоюзной программе ТВ.

Мой старший сын Дима был тогда в армии. Служил в посёлке Бада Читинской области. Ему там этот фильм удалось посмотреть.

И радовался он, что увидел родной город, папу…

А потом в эфир стала выходить информационно-публицистическая программа «10;». Три раза в неделю в прямом эфире. В это время у тележурналистов завязался практически напрямую разговор со зрителями. Пошли письма, телефон был красным от непрерывных звонков.

Не на пустом месте возникла эта программа. До этого на всю страну уже прогремел «Взгляд». Прямой эфир. Самые разные темы — музыка, политика, шутки. Влад Листьев со своими программами-бестселлерами. «Намедни» Парфёнова…

Казалось, как всё просто: будь искренним со зрителем, рассказывай ему всю правду, живи его проблемами — и будет тебе счастье, рейтинг. Но, как и десять библейских заповедей, эти простые истины для большинства журналистов оказываются

неподъёмными, недостижимыми. Что и позволяет периодически вспоминать, что есть ещё одна профессия, с которой современная журналистика во многом схожа…

Ну, так вот: «10;», прямой эфир. Вели программу обычно двое. Перед каждым из ведущих листок с информациями, которые сегодня, сейчас, нужно прочитать. Они все разные. Есть что-то из официальной хроники, серьезные сообщения, есть криминальная хроника, иронические сюжеты. До десяти — двенадцати информаций в десятиминутном выпуске. Журналисту в «10;» нужно было обладать самыми разными талантами: официальная информация — ты должен её читать, как диктор Центрального ТВ, коммунальные темы — лексика приближена к разговорной, бытовой. И журналист в это время — друг, сосед зрителя, у которого прохудилась крыша, потёк кран.

Ведущие следят друг за другом, подхватывают разговор, вставляют реплики, иногда комментируют. В голове отсчитываются секунды — прямой эфир. На тебя смотрят тысячи глаз. Всё время чувствуется это напряжённое к тебе внимание.

Сатирическая зарисовка — тут можно подурачиться, изменить интонацию, голос.

Погода — зрителю после всего нужно дать расслабиться. Про дожди и солнце журналист рассказывает уже с тёплыми, домашними интонациями. Всё будет хорошо. Всё уже хорошо…

Десять минут прошли. Заставка.

Кажется, во врЕмя уложились. Всё удалось сказать? Так ли? Какая-то опустошённость, облегчение. Наверное, даже счастье.

Ну, тот, кто хоть раз испытывал оргазм — ну, вот что-то похожее…

Сейчас говорят: прямой эфир — да что вы? Мало ли чего кто может сказать? В прямом эфире ошибки, шероховатости. Которые прекрасно исправляются при монтаже…

При монтаже телепрограмма убивается.

Приходит монтажёр, который даже не пластический хирург, а, скорее — патологоанатом, и они, вместе с мудрым редактором, сшивают своего Франкенштейна…

И вообще, говорят, нужна цензура. У экранов могут находиться дети…

Могут. Да. Но не нужно переводить стрелки. И не нужно днём показывать фильмы и телепрограммы со значком 18+.

И, потом — зачем цензура, если есть Закон о печати? Не оскорбляй, не разжигай расовую, религиозную ненависть…

А, в остальном — пусть будет эта свобода.

Есть, к примеру, разные СМИ: Жириновский, Петросян, Жванецкий. У каждого своя аудитория. И каждый в пределах

своей информационной досягаемости позволяет себе то, чем его наградила или обидела природа.

И — пусть.

Лишь бы не оскорблял никого. Не призывал…

Когда-то Осип Мандельштам написал стихотворение «Собачья склока». Перевод из Огюста Барбье.

Он долго его не мог опубликовать.

Потом вдруг — получилось.

Случился какой-то короткий промежуток в политике, когда новые революционные советские власти ещё толком не разобрались, чего писателям и поэтам можно, а чего — нельзя. И в этот-то короткий промежуток истории и времени стихотворение Мандельштама и опубликовали.

По утверждениям критиков, ни до, ни после стихотворению «Собачья склока» увидеть свет не удалось бы.

Хотя и не про нас оно совсем, а про французскую революцию…

Так и время прямых эфиров. Нет, не тогда, когда ещё не было этих волшебных средств записи и монтажа программ. А — время программы «Взгляд», время Влада Листьева, старых программ НТВ.

Когда Осип Эмильевич мог бы много ещё своего опубликовать.

То время прошло. И о нём уже можно только вспоминать.

— А, что это такое, — могут спросить молодые тележурналисты, — «Прямой эфир»?

Я ещё помню…

Презервативы СССР

По улице посёлка нашего Растсовхоз шёл пятнадцатилетний Антон Вольф и пел. Он всегда пел. А мне было лет восемь.

Из коридора мы с дядей Витей Савицким выглядывали на улицу и увидели и услышали Антона.

«Антон Вольф опять поёт» — сказал дядя Витя. «Гандон, да?» — я ляпнул слово, которое подобрал где-то на улице и посчитал, что оно подойдёт сюда очень кстати.

«Не надо так говорить» — сказал дядя Витя. Он, к тому же, был ещё и мужем моей учительницы, Нины Николаевны.

Я спросил: «Почему?». Я, правда, не знал. — «Это плохое слово», — коротко объяснил мне дядя Витя.

Секса в СССР не было. Но презервативы выпускать приходилось. И не столько потому, что было, на что надевать, а, всё-таки, наверное, чтобы меньше было абортов.

Советские презервативы выпускались сухими, густо пересыпанными тальком. Чтобы резина не склеивалась и в решительный момент граждан самой свободной страны психологически не травмировала.

Выпускали их сухими безо всякого злого умысла. Никто не хотел специально досадить женщине, которая просто так, из предполагаемого удовольствия, а не для деторождения, решила отдаться мужчине. При Советской власти между мужчиной и женщиной, на момент их интимного сближения, возникала такая любовь, что омрачить её было невозможно ни тальком, ни каким другим, даже весьма крупнозернистым, абразивом. Деньги тогда особого значения не имели, поэтому отношения носили чистый, бескорыстный характер. Никаких тебе олигархов, никаких чиновников с окладами олигархов.

Так что на тальк и сухую резину никто тогда внимания не обращал.

Единственное, что могло создать в обществе социальную напряжённость, так это перебои в снабжении граждан великой страны «Изделием № 2».

В 70-е в Актюбинске возникла именно такая ситуация.

Презервативы — это, конечно, не колбаса. Такой продукт, что о нём не поговоришь в очереди с единомышленниками. Не выйдешь с плакатом на улицу: «Даёшь, мол, презерватив!». Тут не только власти — даже друзья, товарищи по работе посмотрят на тебя, как на сумасшедшего.

Поэтому актюбинский народ молча терпел.

Ну, я тоже — как все. Но потом подумал: не на всю же нашу

страну напал этот презервативный кризис? Может, есть где такие оазисы, где заветных этих резиновых колечек полным — полно?

Ну, и — решил разослать во все концы необъятной державы письма с просьбой помочь молодой семье дефицитным противозачаточным средством. Я знал, что в каждой области есть ОблАПУ — областное аптекоуправление. И там сосредоточено всё, что нужно для здоровья человека. В том числе, — как я подумал — и презервативы.

Послал — как вроде в шутку. Подумаешь — конверт пять копеек — и в любой уголок Союза. На ответы даже не рассчитывал.

К удивлению, многие откликнулись. Со всей серьёзностью из ряда крупных городов ко мне пришли официальные бумаги, в которых за печатью и подписью, с исходящим номером сообщалось, что помочь мне не могут ничем и советовали обратиться в свое родное, Актюбинское ОблАПУ.

А вскоре пришло письмо и из самого ОблАПУ Актюбинска. Кажется, из Саратова им переслали моё послание, и наши провизоры оперативно отреагировали. В письме сообщалось, что, мол, дорогой Вы наш потерпевший, да как же это такое могло случиться, да презервативов этих у нас, хоть завались. И посоветовали заглянуть в ближайшую от моего дома аптеку, где меня уже ждут и готовы помочь справиться с замучившей меня проблемой.

Я не стал откладывать. Взял хозяйственную сумку и бегом отправился за покупками.

В аптеке протянул письмо первому попавшемуся продавцу. Девушка знакомилась с документом и, по мере прочтения, менялась в лице. Потом, что называется, прыснула со смеху, и побежала в подсобку. Оттуда минут через пять вышла, по всей видимости, заведующая, тоже в лице, состоявшем сплошь из улыбки, которая то и дело рассыпалась в «хи-хи». Покрасневшая аптекарша (и аптекари тоже краснеют) сказала, что, конечно, я могу получить то, о чём написано в письме, нужно только заплатить в кассу.

Товар отпускала заведующая лично. Когда я протянул чек, она задержала его в руке на секунду: «Что, на все?..». Я молча поставил на прилавок свою сумку. Её, так же молча, забрали, унесли в подсобку.

Слышал, как там долго чем-то шуршали, сопровождалось всё это «хи-хи», «ха-ха». Потом две молоденькие аптекарши весёлые и покрасневшие вынесли мне сумку, набитую, почти доверху, драгоценным изделием.

Я шёл по Октябрьскому бульвару. Летний солнечный день.

Мне на голову свалилось такое счастье! Теперь я МОГУ ВЫКИДЫВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ!

И представлял уже, как прихожу в гости к друзьям и делаю им всем неожиданный подарок…

* * *

Вспомнил упаковку с презервативами, где было указано, что изделия там № 1. Наткнулся я на них, когда ездил в командировку в г. Хром-Тау, где жили шахтёры, и снабжение у них было особое. Поскольку никакого порядка в обеспечении презервативами нашего областного центра так и не наступило, я проявил к ним определённый интерес.

Ну, в общем, накупил я презервативов № 1 полсумки. Боялся ещё — думал — как в Москве — закричит кто-нибудь в истерике: в одни руки только по три штуки!

Отоварили без ограничений.

Конечно, дома примерил — жмут, особенно у основания, да, что поделаешь!

Но зато узнал я после этого, что промышленность у нас о всяких людях думает, не всё клепает на одну колодку. Колодки, как минимум, две. Есть, так сказать, дифференцированный подход к нуждам населения.

И вот собрался я опять куда-то в командировку. Хожу по аэропорту, время коротаю. Подошёл к аптечному киоску, а там, на витрине, в уголочке, стыдливо прижались «Изделия № 2». Ну, я и спрашиваю аптекаршу: — А бывают ли у вас «Изделия № 3»? (Знаю уже, что «№ 1» бывают, «№ 2» — на витрине, а что по поводу удовлетворения потребностей граждан ещё одной категории скажет мне специалист?)

Ах! Как на меня та аптекарша посмотрела! С какой уважительностью, с каким… восхищением! — Нет… — с искренним сожалением и гостеприимно улыбаясь — сказала полненькая женщина бальзаковских лет. И с сердцем добавила: — Вот сколько я работаю! — НИ РАЗУ!!!

Я понял, что тут мне надо бы изобразить горькое сожаление, почти муку.

Пара пустяков.

Сказал: — Заверните два.

Я спиной чувствовал, что женщина-аптекарь ещё долго провожала меня взглядом…

* * *

Аллочка Воробышева, четвёртая гражданская жена собкора «Правды» Кириницианова, слетала на выходные в Москву. Поделилась у нас в отделе впечатлениями. Я написал стишок:

Москва! Москва! Живот в восторге!
Продукт редчайший ест и пьёт.
Красивых тут без денег кормят,
И в мини ходит весь народ.

Захотелось в Москву. Не столько поесть — я тогда молодой был — сколько посмотреть на народ, который там ходит в мини-юбках.

Судьба мне улыбнулась. Выпал счастливый билет учиться в Москве целых пять лет. Нет, не все там ходили в мини-юбках. И даже — не через одного, (одну). Но с продуктами, действительно, было что-то фантастическое. Чай № 36 у нас из-под прилавка, а в Москве — на каждом углу. Мясо на выбор — москвичи, скривившись, вилкой куски перебирают. А у нас долго в обкоме решался вопрос — можно ли, хоть на одном магазине в городе, написать «Мясо»?

Потом что-то у них щёлкнуло и-таки, разрешение дали. И появился на улице Скулкина в городе Актюбинске маленький магазинчик, на котором, как на рейхстаге, водрузили большую вывеску с надписью «МЯСО». Да, именно так, большими жирными буквами. Проследить и доказать какую-то связь между решением обкома дозволить существование магазина «МЯСО» и тем, что весь штат, а также руководство малого советского предприятия составили выходцы из Кавказа, было, конечно, невозможно. Даже намёк на это выглядел оскорбительным. Просто — решила партия сделать своему народу жизнь ещё краше, и открыла ещё один продуктовый магазин. А то, что на тот момент, совершенно случайно, попалась инициативная группа кавказцев — так на то он и случай.

Дальнейшая жизнь новой торговой точки показала, что лучше было бы её назвать «КОСТИ»…

Ну, чего это я отвлёкся… В общем — я в Москве. Сессию сдал без «хвостов». День отъезда. Время рассчитано по минутам. Где-то меня уже ждёт самолёт. В комнате общежития у меня по всем тумбочкам разложены драгоценные московские продукты. Всё нужно распределить на две руки. В одну — ручную кладь — её не взвешивают, подразумевается, что в сумочке пять килограммов, и её можно пронести в самолёт. И — чемодан. В сумочку, (скорее, портфельчик) насколько влезет, я накладываю сгущёнку, тушёнку. Чемодан в основном забиваю замороженным, из

холодильника, мясом.

Ну, всё. К полёту готов. Ткнул дверцу ещё одной тумбочки, а там!.. Мама моя родная! Там ещё целая гора чая № 36!.. Как же я про него забыл!.. Куда его?.. А время — по минутам. Самолёт ждёт, но ждать он не будет.

Я хватаю трико, то, что с ногами, и забиваю его полностью. Перекидываю через плечо, как шинель-скатку, хватаю в руки портфель и чемодан и к выходу. Сделав несколько шагов от общежития, почувствовал, что идти не могу. Под тяжестью груза подгибаются колени. К трамваю не дойду. Пришлось ловить такси…

В аэропорту багаж нужно запаковать. Я бросил на ленту транспортёра набитое чаем трико. Когда оно подъезжает к упаковщику, тот на момент замирает. Поднял руки с куском плотной бумаги, а опустить не может. На ленте лежит полчеловека. Нижняя половина. Потом паренёк сориентировался, быстро обернул бумагой странноватый груз, перетянул бечёвкой и отшвырнул дальше на ленту.

Кажется, всё. В руке у меня осталась «ручная кладь». Иду на контроль через металлоискатель. Вы не пробовали, держа в руках гирю, пройтись с ней непринуждённо, будто у вас в руках борсетка? Странноватая, я вам скажу, получается походка. Но я старался. У меня сверхзадача: я — кормилец семьи.

Сумка благополучно проехала через телевизор, я пошёл проверяться на наличие оружия.

И тут… Зазвенел звонок! Что-то у меня металлическое обнаружилось. Может, ключи? Я полез в карман, выложил на столик ключи. Пошёл проверяться — опять звонок. Раз пять проходил, все карманы вывернул на столик для досмотра, а он всё звякает. А! Вот ещё! Презервативы! Я же их ещё закупил в белокаменной! Дорвался! Обоймы по десять штук. «Обработано силиконом». «Проверено электроникой». Безразмерные. Срок хранения — десять лет! Запечатаны в алюминиевую фольгу. Вот где была зарыта собака! Алюминий!

Сотрудники аэропорта переглянулись, ухмыльнулись и дали знак проходить…

* * *

И вот наступили «нулевые» годы. Иду я по городу Орску, по центральной, имени Ленина, улице. Смотрю — «Секс-шоп». Наконец, в России, как и во всём остальном мире, появился секс. А с ним, конечно, и специальные магазины. Захожу. Глаза

разбегаются — чего только нет! А презервативы! И гофрированные, и с хвостиками, с запахом клубники, апельсина, чёрной смородины. Ещё такие, что светятся в темноте!

Вот гофрированные, с хвостиками — это я ещё как-то понимаю, но вот зачем запах клубники? На гениталиях, насколько мне известно, нет органов обоняния, а там, где они есть, совершенно отсутствует опасность забеременеть…

Ну, ладно, Бог с ней, с клубникой.

Подхожу к продавцу. Спрашиваю взрослую женщину: — А есть ли у вас презервативы без смазки? Такие, чтобы тальком пересыпанные, «№ 2»?.. Пока продавщица молча на меня смотрит, поясняю: — Мы с подругой «садо-мазо», нам бы чего погрубее… — А-а-а… Продавщица сделала вид, что меня поняла. — Нету, говорит. Я не отстаю: — Кончились, что ли? — Нет, отвечает, — не поступало.

Ну, нет, так нет.

Наступил капитализм. Кончилась эпоха чистых, бескорыстных отношений между мужчинами и женщинами. Когда просто так, по сильной, духовной, идейно выверенной любви, отдавались женщины своим избранникам. Когда радости полового сближения не могли навредить ни тальк, ни сухая ГОСТовская резина.

В новой, другой, современной жизни, для радости в отношениях уже стали нужны возбудители, смазки, удлинители пенисов и… запах клубники…

Но я запасливый. Где-то у меня в шкафчике ещё завалялась упаковочка «Изделий № 2» знаменитого на всю страну Баковского завода.

У меня ещё будет возможность вспомнить лучшие годы нашей жизни…

Диссиденты 70-х

Слово «диссидент» я впервые услышал от Мулевича. Я уже был взрослый, уже, лет пять, как городской и работал на телевидении. Можете представить, какой детски-наивной была наша организация, что в ней о диссидентах никто не говорил, как будто их вообще не существовало. Ну, уж, у нас в облтелерадиокомитете — однозначно.

И вот появляется Константин Мулевич. С лохматой рыжей бородой, в потертых джинсах, обтягивающих худую, без живота, фигуру.

Живота у Мулевича не было по двум причинам: ну, наверное, таким родился, и — ел мало. Потому что в театре, откуда его выперли, он получал то ли семьдесят рублей, то ли девяносто, и к нам пришёл, можно сказать, в зарплате ничего не потеряв. Приняли его на должность ассистента режиссёра третьей категории. Ниже некуда, но деваться Мулевичу тоже было некуда. Слесарем и токарем он не умел, потому что этому учиться надо, да он бы и не научился этому никогда. Мулевич знал и любил литературу, интересно рисовал. И был неплохим актёром. Амилькар в пьесе «Месье Амилькар» И. Жамиака. Всякие интеллигентные любовники — это было его амплуа. Красиво, ярко он говорил на сцене. Актрисочки начинали загораться к нему чувством ещё во время спектакля, и уже совершенно ставили его в безвыходное положение после, требуя четвёртого акта, но уже не игры, не пьесы, а настоящего, полового. В новых предлагаемых обстоятельствах он вёл себя достойно. Мулевич был исполнен благородства и никогда не мог обидеть женщину. Только об одном случае он рассказывал, как бы извиняясь за несодеянное.

За Валентином долго ходила по пятам, влюблённая в него без памяти, актриса Лупишкина. А любовь — такое чувство, что рано или поздно оказываешься перед ситуацией, когда нужно снимать штаны. Лупишкина к тому обнаруживала готовность в любой момент, но Мулевич почему-то уклонялся от прекрасной возможности обнаружить перед ней ответную открытость. И дело было не в возрасте, которого у Мулевича было уже сорок лет. Просто… Худющая была Лупишкина до невозможности и, что ещё хуже — всегда грустная, как Татьяна Буланова. Однажды Мулевич так, напрямую, ей и сказал: — Знаешь, Лупа, я люблю женщин е-ть и смеяться. А тебя я буду е-ть и плакать…

Лупишкина поняла. Отстала.

В общем, Константин обладал многими талантами, но, ни

один из них в стране Советов не мог оплачиваться выше девяноста рублей в месяц. Для артистов, поэтов и художников, если у кого случалось вылететь из работы по профилю, были открыты все дороги, все пути в кочегары, грузчики, сторожа. Мулевич при росте метр восемьдесят весил не больше пятидесяти пяти килограммов. Какой с него грузчик? Ему положи на плечи мешок с сахаром — он под ним и умрёт. И кому будет помехой такой сторож? Получалось, что у него в нашем городе оставалась одна дорога — к нам на телестудию. Где работали не за деньги, а по призванию. И ещё — потому что на телевидении работать было престижно.

И вот стоит, значит, Мулевич, на крыльце телестудии, я прохожу мимо. Сразу заговорили, будто знали друг друга тысячу лет. Ржали, хихикали. Вокруг, если присмотреться, очень много забавного. Ну, мы и стали обмениваться наблюдениями. Которые в этот и в последующие дни знакомства распространились от женщин до самой Советской власти.

Я узнал, что мы живём, как за колючей проволокой. Что у нас нет свободы слова, печати и собраний. Что у нас в стране есть политические заключённые. Я услышал фамилии Солженицын, Некрасов, Галич, Сахаров… Ну и — слово «диссидент». Мулевич очень любил хорошие книги. У него дома была небольшая библиотека, которая состояла из томиков, зачитанных до дыр. Их он регулярно уворовывал из библиотек нашей необъятной родины, когда бывал на гастролях. Ну, и наш родной город Актюбинск, где прожил несколько лет, тоже не обходил вниманием. Библиотекарши были от Вальки без ума. Он улыбался им, расшаркивался, целовал ручки. Кому могло прийти в голову, что в это время у него в джинсах неимоверная теснота от какого-нибудь Бабеля, или Кафки. В Москве, в Ленинской библиотеке, он выучил наизусть «Девичью игрушку» Баркова и вынес её оттуда в голове.

И — главное! — впервые мною виденное! — Валентин показал мне стопки машинописных листов, а то и просто записей от руки, которые назывались «самиздат». Там были Булгаков, «Роковые яйца», отрывки из «Архипелага ГУЛАГ»…

Каким-то образом Мулевичу удавалось вылавливать среди скрежета глушилок «Голос Америки», «Радио Свобода». Он пересказывал мне содержание радиопередач. Я потом и сам стал пробовать что-то поймать. Но не хватало терпения. Сильный шум, волна то уходила, то возвращалась вновь. Но одну передачу запомнил. Это было в дни, когда умер Высоцкий. О Высоцком рассказывал «Голос Америки». Биографию, воспоминания современников. Звучали песни поэта.

Я вот слушаю сейчас «Эхо Москвы». И прорываются иногда энтузиасты-патриоты, которые с болезненным упорством спрашивают журналистов радиостанции: — А сколько вам платят оттуда, из-за океана, за ваши передачи? И думается: — А сколько платят журналистам государственных СМИ? Почему их никто не спрашивает, сколько им заплатили за ту, или иную ложь? И заплатили, не спрашивая нас, из нашего же кармана!

Помню, как последовательно, день за днём, по телевизору рассказывали о том, как сам куда-то упал южнокорейский пассажирский самолёт. В газетах рисовали маршрут самолёта. Потом, не моргнув глазом, стали показывать солдатика, который в этого «Боинга» стрельнул. И солдатик говорил: — А вдруг этот «Боинг» нёс бомбу на мой мирный домик, где мои жена и дети?.. Враньё с Чернобылем, «Курском», Бесланом, Грузией…

Хорошо оплачивается, почему не врать?..

И почему Америка на свои деньги должна рассказывать нам о Высоцком, читать главы из запрещённых произведений? Ну, ясно, конечно — чтобы развалить наше хорошее государство.

Можно ли развалить хорошее государство, рассказывая людям правду?..

Борода и джинсы в стране Советов были одними из признаков инакомыслия. Как я уже говорил, что такое «диссидентство» я не знал до встречи с Мулевичем, но про джинсы слышал, что это вещь хорошая и популярная. Даже видел, как по городу расхаживают, выделяющиеся из толпы парни и девушки с видом, который отличался от общепринятых стандартов. Естественно, мне тоже хотелось иметь джинсы. Я об этом желании сказал жене, на что она даже слова против не ответила. Она вообще никогда мне не возражала, считая это безнадёжным занятием.

Но я всегда с ней советовался.

Иногда уже после того, как совершал какую-нибудь безумную покупку.

В общем — жена согласна. Можно джинсы покупать!

И тут прохожу я по улице Карла Либкнехта и вижу в витрине киоска синие штаны. Дыхание перехватило… Подбегаю, спрашиваю у продавщицы: — Это джинсы? Тётенька на меня посмотрела с удивлением: — Да, джинсы. — А сколько стоят? — у меня даже во рту пересохло. — Четыре рубля. — Ответила продавщица.

У меня в кармане не было таких денег.

Я сказал: — А вы их можете попридержать? Я сейчас за деньгами сбегаю!.. — Пожалуйста, — ответила тётенька, — и посмотрела на меня с ещё большим удивлением.

Я галопом побежал в нашу бухгалтерию, кричу: — Помогите!

Скорее!..

Дома я примерил покупку. Теперь у меня есть настоящие джинсы! Правда, коротковаты. Да, ладно. Джинсы же! Только почему-то в зеркале я не выглядел, как те парни и девушки, которых я иногда видел в джинсах на улице. Кроме того, что были они короткими, широкими, они ещё и в зоне бикини висели мешком.

Мудрость, знание, опыт приходят с годами. Уже теперь я знаю, что мои джинсы-штаны были вьетнамского производства. Ну, и выглядел я, соответственно, как солдат освободительной вьетнамской армии. Не хватало только ихней панамки и автомата.

Эти «джинсы» оказались фантастически носкими. Я сменил уже несколько костюмов и купил себе, наконец, настоящие джинсы, а моё вьетнамское сокровище всё не рвалось и даже не выцветало. Я сто раз хотел его выкинуть, но не было повода. И, может, оно и к лучшему.

Сейчас в них щеголяет мой сын Витя.

Как-то он рылся в наших вещах, подыскивая себе что-нибудь для работы на огороде.

–

Откуда у тебя брюки «капри»? — спросил он меня с удивлением. Добавил: — Почти новые!..

Мои вьетнамские «джинсы» обогнали время на сорок лет.

Чтобы уже покончить с темой о джинсах, расскажу о своих первых впечатлениях, когда я впервые надел настоящие, фирменные, джинсы. Было ощущение, что половина моего тела оказалась в другом государстве. И не где-нибудь, а прямо в Америке! Вот, идёшь по улице — сверху у тебя и во все стороны — Советский Союз. С очередями, портретами лидеров нации и автоматами для газированной воды в жару без воды. А ниже пояса — небоскрёбы, «Кока-кола», Чарльз Бронсон, Элвис Пресли…

«В чём великие джинсы повинны?
В вечном споре верхов и низов
Тела нижняя половина
Торжествует над ложью умов»

(А. Вознесенский).

Перестройка, а потом и «лихие» девяностые показали, что инакомыслие может быть разным. И не всегда это — любовь к литературе, свободе, не всегда это попытки напомнить

действующим правителям о правах человека. Бывает и откровенная гадость. Но тогда, в семидесятые, понятие «диссидент» включало в себя именно эти понятия. Инакомыслие — это Гумилёв, Ахматова, это — портрет Солженицына, заложенный, запрятанный где-то глубоко среди страниц старых журналов. Это, в конце концов — тюрьма за свои убеждения.

Таких людей были единицы. Много ли их было в Актюбинске? Кроме Мулевича, я не встречал больше никого. И в жизни мне довелось познакомиться ещё только с одним человеком, который переписывал от руки произведения опальных писателей. Это петербурженка Лидия Романовна Луннова.

Тут хотелось бы остановиться вот именно на этом — переписывание книг от руки. Это как же нужно любить литературу, Слово, чтобы день за днём переписывать в тетрадку произведения любимого автора?! Сохраняя весь порядок слов, пунктуацию?.. Много людей вокруг меня любили литературу, книги. У многих были большие библиотеки, у отдельных — головы, как библиотеки, в которых хранились тома стихов, даты исторических событий, названия рек и замечательной прозы. Но вот таких, которые бы от руки, как в девятнадцатом веке, переписывали книги — таких было всего двое.

Сейчас в переписывании Булгакова, Галича уже нет никакой нужды. Достаточно на компьютере нажать кнопку…

Так вот, Луннова. Лидия Романовна Луннова…

Мы познакомились через «Книжное обозрение», обмениваясь книгами. Потом, при каждом удобном случае, я стал заезжать в Ленинград, куда меня всегда Лидия Романовна радушно приглашала. После этих встреч у меня сложилось стойкое представление о ленинградцах-питерцах-петербуржцах, как о людях с другой планеты. Они вежливые, внимательные, европейски-культурные. У них в квартирах много книг, они знают в своём городе все музеи, а в музеях — каждый закоулок. Они знают наперечёт все тропинки, где прогуливался Пушкин, а также, кто и когда повредил нос или палец какой-нибудь статуе.

Лидия Романовна разбирала по частям диван и доставала из потайных ниш книги, которые давала мне читать. Отпечатанные на ксероксе, в самодельных переплётах, нью-йоркские, парижские издания. «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам, «Собачья душа» Михаила Афанасьевича Булгакова, «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой. Тетрадки, с переписанными от руки, стихами Гумилёва…

Лидия Романовна всех свои любимых писателей называла по имени-отчеству, как друзей, среди которых она живёт, а они всегда где-то рядом, здесь, недалеко. И в письмах, открытках,

всегда писала «Вы» с большой буквы…

Когда я уезжал, в дорогу мне собиралась всегда целая сетка продуктов. И: — Саша, Вы не хотели бы взять книгу «Русско-английские историко-литературные связи»?.. Я смотрел на эту книгу из серии «Литературные памятники», знал, что она довольно дорогая для интеллигентской зарплаты Лидии Романовны. Ещё знал, что книга эта для меня слишком умная, что ещё нужно, чтобы прошли десять, двадцать лет, пока я до неё дорасту. И — отказывался… Мулевича несколько раз приглашали на нашу актюбинскую Лубянку, на улицу Ленина, в здание КГБ, воспитывали. Он обещал исправиться, но у него не получалось. Однажды на него ночью напали какие-то отморозки, отвезли на машине за город и там избили. Добирался, как мог, пешком. Уличные ли хулиганы? Но какие это хулиганы будут вывозить человека за город, чтобы избить?.. Но и обвинить напрямую в организованной акции наши честные органы тоже было нельзя. Удостоверений бандиты не показывали…

А страна вся жила в постоянном ощущении, что за каждым из нас приглядывают. Этак заботливо, как за глупыми малыми детьми. Но наше поколение относилось к этому как-то беззаботно. Потому что непуганые мы были. И в лагерях мы не сидели, не пытали нас и не расстреливали.

И — вот как-то возвращались мы с другом Сашей Чернухиным из гаражей. Молодые и пьяные. Но — в меру. Выпили для лёгкого расслабления. Машину поставили, не за рулём — почему бы не выпить? А в советских гаражах вся обстановка всегда располагала к душевной выпивке. На перекрёстке расходиться по домам, Саша говорит: — Я тебя посажу на такси. — А мне домой пешком идти минут двадцать. Пока я вежливо отказывался, Саша махнул рукой и остановил первую попавшуюся машину. Ею оказалась милицейская ППС. Нас туда с распростёртыми объятиями и приняли.

Саша выпил больше. И хотел поговорить с милиционерами о правах человека. Я, как мог, его сдерживал, потому что опасался за нашу внешность.

Привезли прямиком в вытрезвитель.

Содержимое из карманов — на стойку, устроили нам экзамен по физкультуре. Нужно было поприседать, потом указательным пальцем найти на лице нос. Я стал выполнять упражнения. Милиционеры уважительно поглядывали в мою сторону, перешёптывались: «Десять с половиной»!.. Я тогда был ведущим популярной телепрограммы. Присел нормально, до носа дотянулся, экзамен сдал. У Саши, после того, как он присел, встать уже не получилось. В общем, его в камеру, меня отпустили.

Я прибежал домой, сразу за телефон, к знакомым милицейским начальникам: — Помогите, — кричу. — Ошибка!.. Недоразумение!..

Поручился.

Потом опять в вытрезвитель — забирать друга.

Там меня уже ждали его родственники, немцы, родители со стороны жены.

Ну, и…

Саша на выходе внимательно просмотрел документы, потом стал пересчитывать копейки, которые ему вернули сотрудники вытрезвителя. Хотел продолжить дискуссию о правах человека. Тесть тихо, но крепко ухватил его за руку и зашептал на ухо: — Саша, пойдём!.. Вывели его из вытрезвителя, почти насильно.

Мне запомнился вот этот момент: страх, пришибленность в глазах родственника-немца. Он оказался в казённом помещении, перед ним были люди в погонах, Власть. Люди, которые могут сделать с человеком всё… Которые делали с человеком всё и оно не истёрлось и никогда уже не уйдёт из памяти этих людей.

До 57-го года все немцы, да и не только они, регулярно отмечались в комендатурах. Многие отсидели в лагерях. Многие переехали в Актюбинск из ссылки, из далёких, холодных, безжизненных пустынь. Да, и не только немцы…

Те, кто отсидел, над кем надругалась советская власть, тоже были диссидентами. Потому что видели то, о чём нельзя было говорить. Все они были опасны потому, что ПОМНИЛИ. Потому что думали то, о чём думать нельзя.

Нельзя было об этом писать. Нельзя было читать…

Все — и читатели, и писатели автоматически становились врагами строя, антисоветчиками. Диссидентами.

Инакомыслием было слушать музыку Запада, которая однозначно именовалась «тлетворной», создавать в подпольных цехах красивые вещи ширпотреба, инакомыслие — не идти радоваться вместе со всеми на обязательные партийные демонстрации. Патриотизм — заучивать речёвки партийных съездов и доносить на ближних, готовиться к войне с проклятым Западом. Ведь, до сих пор нет у нас в России обычного патриотизма. Он у нас — «военно-патриотизм».

Но диссиденты семидесятых были передовой, лучшей частью нашего общества. Они искренне, не за славу, не за деньги сопротивлялись против тупого, жестокого, маразматического давления власти. Не все они были готовы выйти на Красную площадь, далеко не все открыто заявляли о своих позициях. Не всех удалось упрятать в тюрьмы, сумасшедшие дома.

Они читали, слушали Высоцкого. Выпивали и спорили на

тесных кухоньках.

В 91-м из кухонь они вышли на улицы.

И победили.

Кеншилик

Кеншилик оказался моим соседом. Я переехал из Казахстана в Россию, поселился в глухой деревне, в Доме оператора газораспределительной станции, где меня уже ожидали земельный участок и пустой сарай. Дом находился на краю посёлка. Через дорогу начиналась улица, где и жил Кеншилик.

Он появлялся тихо, незаметно. Подтянутый, пятидесятилетний, смуглый лицом. С чуть коротковатыми, ногами. Стоял всегда, чуть от меня поодаль, смотрел, как я пытаюсь налаживать своё хозяйство. Приносил то пилу, то кувалду. Поддерживал доску, чтобы её удобнее было пилить. Доску, которую тоже приносил со своего двора.

Кеншилик производил впечатление человека, у которого не бывает проблем. В семье у него было семеро детей. Жена не работала. Сам Кеншилик получал за свою должность разнорабочего одну семисотую среднего заработка москвича.

Но как-то ему удавалось жить. Наверное, потому, что каждую осень в отделении колхоза выдавали «на пай» зерна и сена. Можно было выращивать свиней и барашков, коров, лошадей и кур.

В прошлом Кеншилик был знатным животноводом. У них с женой Валей насобиралось на книжке тридцать тысяч рублей. Дома всегда конфеты ящиками, ткань рулонами, у детей после каждой поездки на базар новые игрушки. Думали купить машину — не знали, какую. И, потом — Кеншилик то со своими овцами круглые сутки, то, случалось, выпьет, чтобы отдохнуть. Пока собирались — рубль рухнул, и вместо состояния осталось разбитое корыто.

А потом и всё совхозное хозяйство развалилось, и оказался Кеншилик на разных работах. То сторожить машинный двор, то лёд колоть вокруг конторы.

В такой ситуации кто-то уходил в безвозвратный запой, кто-то — уезжал из села. Кто-то вешался. Кеншилик производил впечатление человека, у которого всё всегда хорошо. И, когда я с ним познакомился, я посмотрел на себя со стороны и подумал, что и у меня не так уж всё и печально. И даже местами весело.

И дальнейшая моя жизнь, благодаря Кеншилику, стала походить на сериал, в котором главным героям не очень-то везёт, но это и является комедийной составляющей фильма. Вообще все комедии построены, в основном, на том, что герой на экране страдает, а полный зрительный зал от этого укатывается со смеху.

Как овощевод со стажем, сразу по приезду в свою

обетованную российскую землю, я обеспокоился проблемой выращивания картофеля. Весна, нужно подумать о том, что кушать зимой. А зимой мы в основном кушаем картошку.

Кеншилик сказал, что такой проблемы у них в посёлке не существует. Потому что можно договориться с трактористом, он вспашет в чистом поле участок земли любого размера, куда можно побросать картошку. И потом останется запомнить место и приехать туда осенью с лопатой, чтобы этот картофель убрать. Поливать не нужно, потому что рядом с участком обычно озеро, земля влажная. Ну, можно съездить пару раз прополоть. Но лично он, Кеншилик, никогда не ездил, потому что осенью эту картошку и так девать некуда.

Организацию всей посевной кампании Кеншилик взял на себя. Я не совсем поверил, но Кеншилика послушался. Мы легко соглашаемся, если нам обещают минимум трудозатрат и максимум прибыли, либо вообще халяву.

И всё происходило именно так, как и описывал Кеншилик.

Участок у озера был за бутылку волшебным образом вспахан, картошку я посадил, она взошла. До счастья оставалось три месяца. Рядом с моим участком росла картошка Кеншилика.

Урожай мы не собрали по двум причинам.

Дождей не было, а вид на небольшое озерцо ничем не мог помочь засыхающим кустикам картошки.

И ещё её, пока листья ещё не успели засохнуть, сожрал колорадский жук.

Мы с Кеншиликом этого жука видели. И он сказал, что это сущий пустяк. У них на ферме есть препарат, в котором купают овец. Если им опрыскать картошку, то все жуки погибнут. Мы прыскали, раз восемь. Жуки только жирнели. Поле воняло овечьим стадом, которое обработали чудесным препаратом.

Кеншилик очень удивился, что на жуков гадость, которую он приносил с фермы литрами, не подействовала. Хотя и раньше, как он припоминал, нечто подобное тоже наблюдалось.

К победе капитализма наш бывший совхоз, как и вся Россия, шёл своим, особым, путём.

Поэтому с различными проблемами местные жители пробовали справляться не на основе каких-то знаний, научных достижений, а с помощью средств, которые сами, на ходу, придумывали. Главным условием было то, о чём я уже говорил: чтобы средства были дешёвыми, а то и вовсе бесплатными.

У ветеринара Кантая на складе стояли бочки с разными жидкостями. И периодически на какую-то из них выпадал выбор сельчан. Кто-то пускал слух, что это как раз и есть средство от жучка.

После того, как очередной массив посаженного картофеля превращался в мертвую зону с чёрными обугленными стебельками, наступало некоторое затишье. Год-два с жуками не боролись, потому что дети просили покушать картошки. Потом Кантай распечатывал новую бочку, и эксперимент продолжался.

Некоторым образом в эксперименте оказался задействован и я. Я переехал в Россию и, вместе с её многонациональным народом, пошёл особым путём.

Спасло меня то, что я кое-где подстраховался.

Кроме участка в чистом поле, я посадил ещё пару соток и возле дома. Этот картофель я поливал и жуков травил старым, дедовским, способом: отравой из китайских ампул, которые закупал на базаре.

Кеншилик тоже легко справился с ситуацией: продал несколько овечек и купил картофель. С овечками у него проколов не было. Тут он был профи.

А ещё Кеншилик был замечательным строителем. Это он мне наглядно показал, что для строительства годится всякий подручный материал. А ломиком можно перевернуть земной шар.

Кто бы мог подумать, что навес на калитке в сарае можно сделать из куска брезента, старой мотоциклетной шины?.. Что железобетонную балку можно простым ломиком передвигать, практически, на любое расстояние и потом устанавливать в любое нужное место. Руками и — ломиком… (А, вообще — так уже когда-то строили пирамиды).

Кеншилик был идеально приспособлен к жизни, когда вокруг нет техники, когда нужную вещь, деталь негде купить.

Правда, в такой жизни не выстроишь коттеджа, и никогда не будешь разъезжать на джипе, но с голоду не умрёшь. Как Робинзон.

В то время, как все мужики в посёлке стали впадать в депрессию и пить, Кеншилик пить совсем бросил.

И, естественно, стал первым парнем на деревне.

Но — жене не изменял. Только один раз, да и то — не было другого выхода.

По другую сторону от меня жила у Кеншилика прекрасная соседка. Стройная блондинка Вероника. Конечно, замужем. У соседки, как и положено, был муж Каиргали. Который Кеншилику тоже приходился соседом.

Как могут догадаться прозорливые читатели, судя по именам, в российском моём посёлке проживало много населения нерусской национальности. В основном казахи. Но много было и марийцев и чувашей, мордвы, был даже один ороч, Михаил. Ну, вполне традиционно азиопское население.

Интересно было наблюдать, как местная шутница, старушка Шалдыбейка, у вечно закрытого магазина рассказывала анекдот про казахов. — А, знаете, обратилась она к небольшой аудитории, которая расселась вокруг магазина на камнях, ожидая, что сегодня его, уж точно — откроют. — Знаете, — таинственно обратилась к сельчанам Шалдыбейка, — всех русских скоро выселят из посёлка!..

Казахи, которых было в селе большинство, а на тот момент у магазина и вообще очевидное преимущество, громким шумом высказали свежей новости своё одобрение.

А Шалдыбейка продолжила: — Тут у нас на казахах будут новую бомбу испытывать!..

Можно представить ситуацию: Шалдыбейка — марийка, старенькая, сморщенная, внешне от казахов почти неотличима. И — рассказывает такой анекдот, от которого все дружно смеются.

В посёлке не было, так называемой, национальной розни. Было полно смешанных браков, и вопрос о национальности никогда не стоял на повестке дня, если вдруг какая-то молодая пара хотела пожениться.

А Кеншилик, как мне казалось, всегда испытывал симпатию, влечение к женщинам европейской внешности. Есть у нас, у азиатов, какое-то необъяснимое к европейцам влечение. Мы им и завидуем всегда и всегда хотим трахнуть.

Мой актюбинский друг Юра Челищев уехал в Германию. И, хотя жена у него была немкой, рассказал мне как-то о тайной своей мечте — поиметь француженку. Собирался как-нибудь на одну ночку выбраться в Париж, сходить к проститутке, настоящей француженке.

Господи! И где он сейчас во Франции настоящую француженку найдёт! Сейчас всё в лучшем случае по лицензии, а, в основном — контрафакт. А проститутки вообще народ универсальный. Хочешь Джульетту — я Джульетта! Хочешь француженку — я француженка! А половой признак, что у Гретхен, что у Пенелопы, что у Анжелики абсолютно одинаков, хоть на вид, хоть — уже данный нам в наших ощущениях…

И выбрал Кеншилик себе в жёны русскую девушку Валю. Которая очень гордилась тем, что замуж вышла девушкой. Всю жизнь потом на каждом шагу всем об этом с гордостью рассказывала. И пересказывала. Потому что, согласитесь, случай редкий, если не сказать, уникальный. Девушке свою невинность сохранять не так уж и просто. Если по молодости, по глупости, вовремя не потеряет, то потом только и мысли, как об этом физическом дефекте-достоинстве.

И — чуть что — только случай подвернётся, девушка тут же о

своей непорочности объявляет.

Со временем невинность и непорочность для девушки становится чем-то, вроде именного рюкзака с камнями. Который год от года становится всё тяжелее и тяжелее, но уже с ним как-то свыклось, сбросить уже боязно…

Я так думаю, что Кеншилик просто успел. Вале было семнадцать лет, ну, и…

Соседка Кеншилика была русая, русская. Слово за слово через забор — и пропала женщина. Или мужчина, Кеншилик.

Сосед Каиргали Кеншилику вроде всегда был другом, а тут вот такое случилось. Информация о том, что у него под боком творится, не скоро до него докатилась. Ну, а, когда докатилась, то — не убивать же лучшую свою половинку. Убивать Кеншилика? Друг. Мужская дружба — это святое.

Так и жили все дальше.

А потом и Кеншилика Вероника разлюбила. Связалась с шофёром, который приезжал на уборку хлеба и с ним уехала.

Кеншилик свою вину перед другом чувствовал. Искал случая её загладить. Приглядел в соседнем посёлке, Калдавке, тихую скромную женщину, Жумагуль. И познакомил её с Каиргали. Взрослые люди приглянулись друг другу и сошлись. Хорошая получилась пара. И Кеншилик все последующие годы вёл себя корректно, не позволяя себе никаких вольностей в отношении новой соседки.

Жумагуль была маленькой, кривоногенькой, на лицо страшненькой…

Почти все годы, пока я жил в Слюдяном, Кеншилик был моим ангелом-хранителем.

Однажды выгонял я утром в стадо молодого бычка. Вышел он за калитку и закачался что-то, как пьяный. Прошёл несколько шагов и упал. Здоровый бычок. Месяцев пяти от роду. Ни с того, ни с сего — упал. Лежит на земле, дёргается, встать не может.

Побежал я к Кеншилику.

— «Мышка», — говорит, — у твоего бычка.

— Что за «мышка»?

— Шарик такой под кожей. Его можно руками нащупать. Этот шарик передвигается. Как до сердца дойдёт — бычок сдохнет.

— Что, нельзя спасти?

— Можно. Нужно взять плоскогубцы и эту «мышку» плоскогубцами раздавить.

Кеншилик нашёл плоскогубцы, и мы пошли к бычку.

Нащупали на его теле под кожей «мышку», она вскальзывала из рук, когда её пытались схватить, зафиксировать. Но всё же удалось. Кеншилик сжал плоскогубцы. «Мышка» хрустнула.

Бычок отлежался, через какое-то время встал, осторожно начал пощипывать окружающую его травку…

Как я уже говорил, у нас в посёлке никто не обращал внимания на национальные различия. Всё это распространялось и на взаимоотношения между собой животных.

Коровы — существа скрытные и обычно о своих сердечных тайнах не докладывают.

У нас в подворье были коровы мясомолочной, симментальской породы. Цвета кофе с молоком, ещё с белыми пятнами. Ну, и телята, естественно, каждый год получались, крепенькие такие, симменталы. А тут как-то принимал я отёл и увидел прибыль в виде абсолютно чёрной тёлочки. Видать, познакомилась наша Зорька с каким-то афро-российским бычком и отдала ему в прошлую весну всё самое дорогое.

Юную тёлочку назвали Феней, потому что в феврале родилась. А, уже по весне, наша Феня загуляла. Всё, блин, как у людей. Кто никак не может себе позволить интим до старости, а кто — расслабляется при первой возможности.

Отбивалась Фенька от стада, уходила в поля со взрослыми бычками. Где-нибудь, наевшись травки, у камышистого озерка оставалась с ними ночевать…

Ну, и, дурочка, допрыгалась.

А потом пришла пора телиться. Эмбрионы обычно не спрашивают, сколько маме лет. А Фенька сама ещё дитё. Какое там, материнство? Ну, раздуло её к следующему году, как барабан. Хоть ты корова большая, хоть маленькая, а телёнок развивается стандартный. И мы знаем у нас, у людей, если что подобное происходит, то вокруг собираются участливые медики, которые советуют гимнастику, витамины. (Если такое случается в школе, то и ещё добрые педагоги…)

У Феньки же — какое особенное питание? Год выдался неурожайный. Всё лето не было дождей, на сухих колючках с апреля по ноябрь. А потом — ячменная солома. Сена на зиму удавалось мало найти. Чтобы его хватило, ползимы скотину кормили соломой. И, опять-таки, никакого фитнесу. Даже прогулки случались редко, потому что зимой заметает всё вокруг с крышами, без бульдозера не подъедешь. Стоят коровы в сараях до весны, как в консервах…

В урочный час захожу в сарай, а Фенька лежит, стонет. Телёнок из неё наполовину вышел и застрял. Слабая молодая мамаша, нет у неё сил разродиться.

Я — опять к Кеншилику.

— Ничего страшного, — успокоил меня мой сельский друг.

Внимательно осмотрел роженицу со всех сторон, обвязал

телёнка верёвками. Попросили мы Феньку поднапрячься, сами посильнее упёрлись — и телёнка вынули. Чёрненького, в мать. Оказался тёлочкой.

Летом её, средь бела дня, украли. Паслась в степи, недалеко от дома…

Куда бы человек ни попал, он в новой среде ищет точки соприкосновения. Если пьющий, то ищет, с кем бы реализовать себя в этом плане, если спортивный — пробежаться вместе трусцой. Рыболов ищет рыбака.

Как пьющему человеку, в посёлке для меня друзей нашлось предостаточно. Но у многих этот параметр зашкаливал. Пришёл я поздравлять знакомого тракториста с днём рождения, взял с собой бутылку пива. А он меня уже не узнал.

Бег трусцой я хотел возобновить с 1986 года. Откладывал с каждого первого числа на понедельник, потом — после Нового года. Только вчера с облегчением узнал, что бег трусцой, особенно нам, кому «за», может навредить.

Кеншилик, в отличие от подавляющего большинства мужского населения, не пил и… не ругался матом.

Можете ли вы представить себе сельского труженика, который трудится от зари до зари, ходит большую часть жизни в навозе и мазуте, временами без воды, временами без света, годами без телефона, туалет — зимой, в буран, в метель, на улице и — не матерится?..

Кеншилик на все трудности сельской своей жизни только улыбался, отшучивался. Придет ко мне в гости летом босиком, сядет на крылечко и смешно рассказывает, как управляющий его в очередной раз согнул, унизил. Что сдохла свинья. Или — в семье что-то такое возникло, от чего люди вешаются, а, оказывается, это очень смешно.

У меня тоже находилось, о чем порассказать, чтобы с Кеншиликом вместе посмеяться.

Вот такие были, очень трогательные у нас с Кеншиликом, точки соприкосновения.

А ещё он был… интеллигентным…

Нет, у него не было этой непременной атрибутики — пенсне, изысканных манер, белого воротничка или галстука. У него не было за плечами не только института, но даже средней школы. Но…

Вот — как он приходил ко мне в гости… Он боялся прийти не вовремя. Выжидал недельку-две, чтобы потом зайти, как бы случайно. Мы пили чай, и Кеншилик, чтобы не нанести хозяевам материального ущерба, обходился одним кусочком сахара. Всегда чистый, выбритый деликатный.

Называть ли это интеллигентностью? Просто — воспитанный? Нет… Всё-таки интеллигентность — это воспитанность, которая завязана в комплексе с мозговыми процессами, интеллектом. Противоположность интеллигентности — хамство. И то и другое — наш, отечественный продукт.

Образование — это песня отдельная. Сколько мы знаем людей, будто образованных. И два, и три высших образования… Мы видим целую Государственную Думу — кого из них можно назвать интеллигентами, много ли их там?..

Кеншилик долго был без работы. Каждое утро ходил в контору, но подходящего для него занятия не находилось. Зима — вообще на селе мёртвый сезон. Всех рабочих до марта отправили в отпуск без содержания. А Кеншилик всё равно ходил в контору каждое утро, надеясь, что окажется где-то нужен. Семеро детей…

И чудо случилось. Его взяли на ферму сторожить скот!

Конец января. Вечер. Я поднимался на крыльцо, когда услышал радостное приветствие Кеншилика. Я узнал про его новую работу. Он кричал мне об этом через дорогу. И, что завтра он уже выходит. А это значит, что Кеншилик получит право на клочок добавочного сена, которое выдают рабочим отделения, мешок-другой отходов. В общем — счастье нашего сельского белого человека.

Утром я шёл доить корову и увидел, что перед домом Кеншилика бульдозер Кольки Краснослободцева старательно расчищает снег. Ничего особенного. Зима. Наши с Кеншиликом дома на окраине — их всегда заносило по самые крыши. Только никто с бульдозером на наш край не заезжал. Чего из-за двух домов жечь солярку?

А тут Колька ездил возле дома Кеншилика и взад, и вперёд и совсем не думал о солярке.

Что-то нехорошее почудилось мне в этой внимательности нашей сельской администрации.

Бросил ведро, подошёл к трактору. Колька остановился, наступил на гусеницу, спрыгнул: — Из больницы должны привезти Кеншилика. Ночью случился инсульт. В сознание не приходил…

Эта картинка — как в морозное январское утро ездит перед домом бульдозер, расчищает снег, запечатлелась, зафиксировалась у меня в памяти, хотя прошло уже несколько лет. Так чётко… Утро… Солнце зависло в густой морозной дымке. Снег под калошами скрипит. И — шум трактора…

Это так страшно…

Сценарий

Нюша и Женя поженились. Они очень хотели ребёнка. Он у них родился. Нюша никак не могла родить, но восемь серий все ей вокруг говорили: «Тужься! Тужься!». И она, наконец, родила. Чёрного мальчика. По всем признакам — афроафриканца. Передача «Жди меня». Из Америки молодой и симпатичный мужчина Джон, по всем признакам — американоафриканец — ищет девушку, которую полюбил в России. Афророссиянку. Они потерялись во время праздника Хэллоуин. Вначале встретились, а потом потерялись. И с тех пор Джон нигде не может её найти. И никто ему не нужен. А он даже не знает, как звать любимую. А тут ведущий Кваша и говорит: — А, знаете, мы нашли вашу девушку! И в студию заходит, вся красная от смущения, Нюша с афророссийским малышом на руках. Два года назад Нюша с подругами пошла праздновать Хэллоуин в один из ночных клубов. Выкрасила себя чёрной краской, потому что это такой праздник, когда всем весело, и каждый кого-то хочет напугать. — У — у — у — у —! — сказала Нюша после бокала текилы, подняла страшно руки и пошла испугать юношу, который стоял к ней спиной. А это был афроамериканский Джон. Который повернулся к Нюше лицом, и она сразу в него влюбилась, как оказалось впоследствии, без памяти. И Джон тоже сразу в неё влюбился, нашёл закуток и не словом, а делом доказал, что у него к Нюше серьёзные намерения. Нюша вышла попудрить носик и ударилась об рукомойник. И всё забыла, потому что у неё возникла амнезия. Подружки отнесли Нюшу домой, где она утром проснулась и опять ничего не помнила. Потом она помылась, вытерлась чисто от чёрной краски и скоро влюбилась опять, но уже в нашего российского паренька Женю, который быстро на ней женился. Нюша думала, что это у неё в первый раз, потому что ничего не помнила. А потом она увидела передачу «Жди меня» и всё вспомнила. За небольшое вознаграждение, она встретилась с Джеком на передаче и показала ему плод их счастливого чувства. А Женя не знал, что ребёнок у него родился американским афророссиянином, и думал, что этот ребёнок его. Потому что был слепой. И его никто не стал расстраивать. Джон очень трепетно относился к семейным ценностям. Он тоже попросил всех, кто сидел в студии, всех, кто смотрел телепередачу «Жди меня», ничего не говорить слепому мужу Нюши Жене. Он решил навсегда переехать в Россию и высказал пожелание устроиться в семью Нюши и Жени няней, чтобы незаметно помогать молодой семье растить ребёнка. На этом заканчиваются первые 600 серий

фильма.

Высоцкий

Владимиру Семёновичу Высоцкому сегодня исполнилось бы семьдесят два года. Его друзья в телепрограммах — про них ещё можно говорить с натяжкой, что они в расцвете лет, но это уже — старики и старушки. Высоцкий был старше меня на тринадцать лет. Потом мы с ним в возрасте сравнялись. Теперь обо мне уже можно говорить, что я в расцвете лет, а ему так и осталось — сорок два. В день его смерти я слушал Голос Америки. В радиоприёмнике всё шипело, шумело, звук то уходил, то снова появлялся. Владимиру Высоцкому посвятили большую программу. Американцам больше было дела до нашего великого поэта, чем нашему великому государству. Я записал передачу на магнитофон. И спрятал подальше. Моего друга, Володю Горбачевского, студента Актюбинского пединститута, таскали к ректору за то, что кому-то он показал свою тетрадку со стихами Высоцкого. К нам в город приезжал автор-исполнитель песен Александр Дольский. Несколько полуподпольных концертов в домах культуры. Среди песен — «посвящение Владимиру Высоцкому» — «Осуждённый на жизнь»:

Словно тысячи тысяч оркестров
разодрали мелодии плоть —
миллионы нещадных маэстро
стали палочкой сердце колоть.
Будто бич резал напропалую,
оставляя рубцы на челе,
этот ритм, а цена поцелуев
нам известна две тысячи лет.
И слова зазвучали, как клекот
пораженного насмерть орла,
резанули до горла от легких,
и ворочалась совесть и жгла…

Дольский выступил на местном телевидении. Ничего особенного:

Мне звезда упала на ладошку,
Я её спросил: «Откуда ты?..»

Полчаса безобидного пения. Про Высоцкого он не пел. Но не

оставило его без внимания Всевидящее Око. Видеозапись выступления барда затребовали в КГБе. Но не на таких напали! Стреляные и тёртые калачи Актюбинской телестудии запись оперативно стёрли, следы пребывания Дольского уничтожили. «Вот какое время было раньше. Такое странное — смотри, Алиса…» Власть никогда не любила хороших поэтов. А Высоцкого она не любила больше всех. Она его боялась. Высоцкий её раскачивал. Потому как ничто не может быть страшнее для управителей страны, чем смех. Смех над ними. А Высоцкий высмеивал их всех под видом зверушек, сказочных персонажей. И смеялась — вся страна. Вот тридцать лет уже прошло со дня смерти Владимира Семёновича, но многое ли изменилось? Что — стал он, наконец, поэтом, признанным, на уровне государства? Ах! Увольте! Сегодняшняя любовь государства к Высоцкому — сквозь слёзы. Просто — деваться уже некуда, да и умер он уже. Поместили в учебники. Крутят по радио три песни. Вот и всё. Я не знаю — может, уже чего-то поменялось, но ежегодно в День Победы я включаю радио. Я думаю, что, в первую очередь, в этот день должны из всех репродукторов звучать песни о войне Высоцкого. Может, кто был тому свидетелем? Может, я просто оказывался не в том месте? Как всегда — две-три, ставшие уже дежурными, песни. Которые где-то одним своим краем вписываются в официальную версию Великой Победы. В которой не было ни Серёжки Фомина, ни звёзд, которые, ни с того, ни с сего, скатывались на погоны ловким штабистам. Вот народу нашему всё стараются внушить, что он быдло. Выборы ему доверять нельзя — не того выберет. Любит наш народ смотреть сериалы про ментов и хроники серийных изнасилований. Ещё наш народ любит просить что-нибудь по мелочи у президента, когда он по телевизору выступает. Кроме одной любимой партии и песни «Мурка», наш народ любит ещё Жириновского и Петросяна. Представляете себе эту тупую, хохочущую от хамства и пошлых шуток, массу? А Высоцкий показал всем нам, что мы можем быть другими. Как корейцы. Которые могут быть и северными и южными. Эти же самые любители «Мурки» и Петросяна, переполняли когда-то залы и стадионы, чтобы послушать высокую поэзию. Ведь стихи Высоцкого далеко не так просты, как на первый взгляд казалось его современникам. А их слушали. Запоминали. Переписывали. Им верили, как словам молитвы, потому что там была Правда. Как Пушкин, Высоцкий пробуждал в людях самые добрые чувства, и это происходило в массовом порядке — ему доверяли миллионы. И это было то самое замечательное большинство нашей страны, которое может совершать великие дела и благородные поступки. Высоцкий —

это была наша лучшая национальная идея, которая объединяла всю страну. Теперь идеи другие. Другие лидеры.

«10 1/2»

«Мы уже объявляли о своём намерении принять в штат человека, который готовил бы и вёл программу „10 1/2“. Естественно, конкурс. До декабря. Условия самые простые: образование любое, кроме среднего, умение читать и писать.

И к нам уже приходят конкурсанты. Безусловно, всё это милые и обаятельные люди, но почему-то многие не обратили внимания на деликатный намёк иметь высшее образование. Умение читать и писать было понято буквально. Разъясняем: в идеале, как хотелось бы, это — читать, как Качалов, писать — как Пушкин. При этом на национальность внимания не обращаем, принимаем и абиссинцев.

Конечно, 300–350 р. — не Бог весть, какие деньги для уважающего себя интеллектуала, но ведь миссионеры в далёких землях вообще работают за просто так.

Из уважения к телезрителям в лучшую программу Актюбинского телевидения мы не возьмём, кого попало, но даже самый достойный не будет застрахован, как от зрительских симпатий, так и от самых обидных телефонных звонков».

Объявление в информационно-публицистической программе «10 1/2» Актюбинского областного телевидения, 1991 г.

Саша Чернухин поймал во дворе телестудии курицу. В армии он служил поваром, а к таким людям курицам лучше не попадаться. Как бедная птичка забрела к нам во двор — загадка. Вокруг — школа, драмтеатр, налоговая инспекция… Может, кто принёс в налоговую, чтобы спать спокойно?

Уже на следующий день трофей красовался на нашем редакционном столе, получился праздник, героем которого по праву назвали Сашу Чернухина. А произошло это замечательное событие в конце 89-го года, когда в областном телеэфире города Актюбинска раскручивалась и набирала темпы популярная информационная программа «10 1/2».

Ничего подобного до этого государственные телекомпании не выдавали даже в масштабах СССР, а частных ещё не было.

«10 1/2» — это была не просто информационная программа. Это был образ жизни. Сложился замечательный коллектив, где все друг друга понимали и даже какое-то время любили. И он притягивал к себе людей весёлых, интересных. Саша Чернухин не был журналистом, он работал у нас в студии телеоператором, но много информаций, сделавших рейтинг нашей программе, принёс в редакцию именно он.

Со стороны казалось, что делать выпуск очень легко, потому что серьёзности в его подготовке не замечалось никакой. Журналисты сидели у меня, в кабинете главного редактора, за одним столом, торопливо записывали на клочках бумаги информацию, которая поступала по телефону, в письмах, от посетителей. Это была пора невиданного на областном телевидении потока писем и телефонных звонков. Просили о помощи, рассказывали смешные истории. В «10 1/2» не было жанровых ограничений. Всякая достоверная информация имела право на жизнь, если была интересной. Не было ограничения и в способах её подачи. Если приглашённый в программу собеседник утверждал, что для здоровья весьма полезно стоять на голове, то ему и предлагалось наглядно в кадре продемонстрировать свою целительную методику. Можно ли было рассказать анекдот в нашей программе? Можно. Если он имел отношение к злобе текущего дня. Обманутый покупатель мог показать телезрителям некачественный товар, а загнанный в угол инакомыслящий политик в нашей программе мог высказать свою точку зрения.

В стране это была пора перестройки, суверенизации, когда власти ещё не определились, что такое демократия и что можно в условиях этой демократии делать с народом. Потом оказалось, что делать можно всё, что делали и до перестройки, только нужно определиться с формулировками, чтобы не потерять лица перед мировым сообществом, культурной частью которого хотелось

ощущать и себя. Основным постулатом постперестроечного периода, за который ухватились все, без исключения, страны СНГ — это то, что ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Но рамки дозволенности стали определять исходя уже каждый из своих интересов, которые пытались прикрыть модным выражением ментальность. Поэтому в каждой республике СНГ сложилась своя, самая справедливая в мире, ментальная демократия. В Белоруссии своя. В Украине — своя. В Туркмении, с пожизненным демократическим президентом, — своя.

«10 1/2» просуществовала в Актобе до тех пор, пока власти не разобрались с формулировками, а рамки дозволенности для каждого рода деятельности в общих чертах определились. Дело в том, что в своей основе программа была сатирической, а сатира — это уже почти вседозволенность. Власти могут простить журналисту всё: некомпетентность, пошлые высказывания. Даже отсутствие дикции у диктора на телевидении простительны — лишь бы этот диктор не смел подшучивать над властью, выставлять её в невыгодном свете.

Журналисты «10 1/2» к властям относились с должным пиететом, как того и требовали условия самого существования программы на государственном телевидении. Но многие события подавались в ироническом осмыслении, что вызывало раздражение. Там, в верхах, возникал резонный вопрос: «Что они, такие умные, что ли?».

С точки зрения, к примеру, губернатора, акима области, может ли иметь право на существование во вверенной ему территории информационная единица, которая, хотя бы иногда, думает не так, как он? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Ни одну газету не спасёт заклинание, набранное мелким шрифтом на последней странице, что, мол, наше мнение может не совпадать с мнением авторов публикаций. Если уж кого из наделённых властью чиновников заденет хоть одна газетная строчка, хоть одно слово, то никто не будет разбираться, чьё это было собачье мнение. Налетят на броневиках, на танках, спустят с поводков на журналистов уродов в масках, с автоматами. Выстроят всех лицом к стене с поднятыми руками и спросят: «А что, ребята, заплатили ли вы налоги?..».

Но «10 1/2» не дожила до таких романтических времён. Мы просуществовали пять лет, а это немалый срок по телевизионным меркам. Оказалось, что самыми разрушительными для организма программы являются зависть и медные трубы. Да, не зря в сказках испытание славой, медные трубы, оставляют напоследок, после того, как герой уже прошёл и воду, и огонь. Ведущие «10 1/2» очень быстро становились знаменитыми. Программу смотрел весь

город, и поэтому достаточно было выступить хотя бы раз, чтобы на другой день тебя узнавали на улицах и, улыбаясь, издалека показывали на тебя пальцем. И, случалось, новый журналист, который попадал в обойму «10 1/2», относил этот феномен на счёт именно своей персоны, а, проработав недели две, уже ощущал себя центром Вселенной.

В этом была слабость нашего коллектива. Он распался на гениев. И стал уязвим, как веник, разделённый на отдельные хворостинки.

И когда программа «10 1/2» уж очень встала поперёк горла руководящим структурам, наша демократическая раздробленность оказалась весьма кстати, чтобы эту лавочку вредоносного инакомыслия тихонько прикрыть.

Нам завидовали. Успеху у зрителей, высокому рейтингу программы. Но уже внутри нашего маленького коллектива стали возникать напряжения, которые разрушительно сказывались на общей работе. Неожиданная известность тяжким бременем обрушилась на талантливых молодых людей. Появились претензии, капризы. И ко мне, как к начальнику, изменилось отношение: «Меня, мол, весь город узнаёт, готовы все на руках носить, а вы, Александр Иванович, кто, собственно, такой? Вот уйду из программы — будете вы все знать!». И уходили. Один из ведущих программы, Олег Адоров, даже статью написал в местный еженедельник «Время»: «Почему закрывается „10 1/2“?». Он перечислял причины, которые постоянно мешали нам работать, но, главное — Я УХОЖУ — сказал Олег.

Но программа продолжала выходить ещё несколько лет, хотя в коллективе и происходили неизбежные перестановки.

В чём был успех программы? В свободе подачи материала. В новизне.

Вот как она, собственно, появилась на свет.

Редактор новостей «На земле Актюбинской», Валентина Ивановна Криштова, в августе ушла в отпуск. Обычно она готовила с десяток информаций на каждый день, которые вечером в прямом эфире прочитывал диктор. Такая форма подачи информации существовала с незапамятных времён. Всё советское телевидение передавало новости через диктора, через цензуру, с обязательным контролем всех материалов, которые выходили в эфир.

Так вот. Когда редактор наших советских новостей, Валентина Ивановна, уходила в отпуск, информации готовил любой другой журналист из редакции, а вечером, как обычно, их читал диктор. Стиль написания был официально-деловой, так было принято, поэтому замена одного журналиста другим

практически не ощущалась.

Валентина Ивановна ушла в отпуск, и возник вопрос: «Кому готовить новости?». Решать его надлежало мне, так как на тот момент меня почему-то назначили главным редактором. Я пригласил Леночку Гетманову, редактора молодёжных программ, предложил сделать выпуск сообща и вместе его провести, без диктора. Оказалось, что это почти революция. Собственно, потом такой способ подачи материала и стал основой будущих выпусков «10 1/2»: журналист сам готовил выпуск, и сам потом его в кадре озвучивал. Информации ожили, обрели лицо, индивидуальность. Но и это ещё было не всё. Я считал, что, рассказывая новости, не обязательно делать каменное лицо, подчёркивать свою нейтральность, чуть ли не отстранённость от того, о чём рассказываешь. Зритель — твой друг, к которому ты зашёл в дом. Ты его давно знаешь — он весёлый, умный. Ему довольно сложно в этой жизни, но он старается держаться в ней с достоинством и не теряет присутствия духа. Вот этому зрителю, которого мы хорошо знали, мы и рассказывали свои новости, заглянув к нему в квартиру через окошко телевизора.

Ориентируясь на него, на друга, на зрителя, мы и стали переделывать, обрабатывать поступающую к нам информацию. В передачи мы вносили элементы юмора, игры, импровизации. Всё это творилось в прямом эфире и в чём-то получалось сродни искусству театральному. То, что происходило сейчас, в это мгновение, уже никогда не могло повториться. Уже на третьем или на пятом выпуске случилось такое, за что в чопорные советские времена журналиста могли в два счёта с треском выгнать с телевидения: во время передачи я, обнаружив какую-то нелепицу, ни с кем не посоветовавшись, язвительно её прокомментировал, а Леночка, опять-таки, ни с кем не посоветовавшись, тут же, в кадре, прыснула со смеху.

Я так думаю, что в нынешние продвинутые времена такое поведение журналистов уже сочли бы предосудительным.

Но тогда нам казалось, что можно всё, что не есть пошлость, что не оскорбляет чести, не ущемляет национальных чувств. В общем, всё, чего не запрещает Закон о печати.

И тут нужно отметить ещё одну важную составляющую успеха «10 1/2», — это мощный творческий, образовательный потенциал группы, которая готовила программу. Во-первых, все журналисты были пишущими, и у всех было высшее образование. Тут необходимо небольшое пояснение. Дело в том, что не всегда и не всякий журналист на телевидении может писать. Отправьте лицо, которое вы каждый день видите по телевизору, в газету, и оно там, через неделю, умрёт с голоду. Потому что писать не

привыкло. Да и не умело. А только носило микрофон и спрашивало: «Вот вы директор завода… Что вы думаете по этому поводу?». И, на засыпку: «Скажите, а как вы проводите своё свободное время?..».

Без микрофона такой журналист абсолютно беспомощен.

Нельзя сказать, что подготовка и выдача в эфир выпусков «10 1/2» проходила под фанфары, среди восторгов и грома рукоплесканий, что поголовно все в студии нас любили и носили на руках. Отнюдь, нет. Кому-то нравилось, а кого-то мы просто раздражали.

Правда, в открытую нам никто не говорил, что мы дурачки, потому что часто смеёмся, но слухи о такой оценке несерьёзного поведения нашей группы до нас доходили, что вызывало в группе новую волну веселья и смеха.

Зря смеялись. Одно дело, если ты раздражаешь просто какого-нибудь уважаемого товарища по работе. И совсем другое, если он вдруг из товарища становится твоим начальником.

Есть у иронии коварное свойство: она делает дурака видимым. Услышавши фразу с подтекстом, он не может определиться, на что намекает собеседник, что же хочет всё-таки сказать. В конце концов, решает, что это над ним насмешка, начинает дуться, злиться и тихо этого собеседника ненавидеть.

Ирония была основным инструментом, с помощью которого создавались выпуски «10 1/2». Отсюда и неоднозначное отношение разношёрстного студийного коллектива к нашей информационно-иронической программе.

Обилие ведущих для программы «101/2» было большим плюсом. Что-то вроде многопартийной системы. Зритель имел возможность выбора. Не нравится Леночка Гетманова, можно дождаться, когда в эфир выйдет Олег Адоров. «10 1/2» — это был сериал, внутри которого уживались разные жанры. Адоров — «action», Жалдыбаева — романтизм, лирика, Гетманова — занимательность. С Горбачевским выпуски получали уклон воспитательный, педагогический, Рая Утенова терпеливо разбиралась с десятками жалоб, которые ежедневно поступали от зрителей по телефону. Выпускница ВГИКа, Альфира Ярошенко, если бы захотела, могла бы пригласить на передачу английскую королеву. У нас в городе ограничивалась первыми руководителями предприятий. Благодаря Альфире, область стала регулярно знакомиться с творчеством поэта Амантая Утегенова.

И всё-таки мы закрылись. Нет, мы не исчерпали себя, и нас не разлюбил зритель. Поменялась на дворе эпоха. Ирония, сатира уже не вписывались в формат представлений о государственном телевидении. Наше начальство постоянно испытывало давление

сверху и, в свою очередь, давило на нас. Нас ограничивали в пользовании автотранспортом, мы долго, хотя в студии уже была видеокамера, работали по старинке, снимая на киноплёнку. После съёмок плёнка отдавалась в проявку, потом монтировалась. На это уходило, как правило, несколько часов. Какая тут может быть оперативность? Это в информационном-то выпуске!

Нас вдруг исключали из программы областного телевидения на несколько недель под странным предлогом, что зрителю от нас нужно, якобы, отдохнуть.

В конце концов, пришлось сдаться. Журналисты, ведущие «10 1/2», поувольнялись.

Одна из последних могикан — Рая Утенова оставила телевидение, а с ним и журналистику. Я, спустя какое-то время, стал готовить программу «Часы». Председатель телерадиокомпании Васильев на летучке похвалил эти преобразования, заметив, что, «наконец, исчезло из эфира досадное ёрничанье».

На многочисленные вопросы телезрителей, которые спрашивали, куда подевалась программа «10 1/2», им отвечали, что это, мол, журналисты сами не захотели вести, сами и закрыли.

В мастерской художника телестудии, Мирзояна Есенаманова, остались эскизы декораций, новых заставок для «10 1/2». Ему всё казалось, что перерыв не затянется надолго, что это не навсегда…

В марте 98-го года я зашёл к юному председателю нашей телерадиокомпании Еркешу Калиеву с предложением провести кадровую перестройку в редакции. Почему-то стало доброй традицией принимать на работу людей случайных. Решали всё вышестоящие начальники, а меня потом ставили перед фактом.

Но процесс революционных преобразований на этом не остановился. Когда я зашёл к Еркешу Калиеву, и заговорил о кадрах, он неожиданно меня поддержал и… убрал меня с должности главного редактора.

Прошло уже восемь лет, как я не занимаюсь журналистикой. Жалею ли? Виню ли кого? Начальников своих — председателей Актюбинского областного ТВ — Дошаева, Калиева?..

На дворе поменялась эпоха, при чём тут они. На частной телекомпании РИКА ТВ убрали информационную программу «Провинция».

Занозистый журналист Лория оказался неуместен в руководстве газетой «Эврика».

Закрыли радиостанцию РИФМА.

И в списке-то — всё частные, так называемые, «независимые» СМИ.

Всё это звенья одной цепи.

«Нам нужны подобрей Щедрины. И такие Гоголи, чтобы нас не трогали» — вот установки, которых, если придерживаться, то журналистом можно работать. Журналистике указали её место — обслуживать нужды власти, государства. Мы это уже проходили. Раньше такая журналистика называлась советской. Разница только в том, что в те времена институт цензуры существовал официально, а сейчас простое чувство самосохранения подсказывает журналисту, что и как писать.

Как и в советские времена, в государственных СМИ осталось место сатире. Однажды вызвал меня к себе телепредседатель Дошаев и с лёгким нажимом попросил заклеймить в эфире позором частный университет «Дуние». Естественно, не самому ему пришла в голову эта идея. Областной акимат почуял в университете зажравшегося олигарха и решил призвать его к порядку, а заодно и показать всем, кто в доме хозяин. И коллектив из лучших преподавателей города оказался под массированным огнём сразу и телевидения, и радио, и газет.

А история-то была вся прошита белыми нитками: вначале, без всяких оснований, отобрали у «Дуние» лицензию на преподавание, а потом и обвинили в преподавании без лицензии.

Видимо, ещё не понимая, какое лето на дворе, Бутинчинов, ректор университета, чуть не плача, кричал журналистам: «Помогите! Ведь вы же четвёртая власть!».

Помогли. Растоптали.

Приказ Дошаева выполнил и я. И мне до сих пор стыдно.

Но у меня есть маленькое оправдание: я ушёл из журналистики и уже никогда не напишу того, с чем я не согласен.

Из мудрых мыслей моих начальников я запомнил афоризм Еркеша Калиева: «Зачем государственному телевидению рейтинг?».

Так он сказал, запрещая к выходу в эфир очередной выпуск программы «Часы». И верно: есть «Часы», нет «Часов» — Актюбинское ТВ не закроют, а грамотные люди, которые донесут до массового зрителя идеи партии и правительства, всегда найдутся.

А ещё, другой начальник, на творческих летучках говорил: «Незаменимых людей не бывает».

Но он был не прав. Без Лории «Эврика» осталась. Но это уже другая «Эврика». Другим стало телевидение РИКА, откуда ушли легендарные журналисты Тарасенко, Мураховский, Николенко, Ковынёв…

Мне жаль выпусков «10 1/2» тех, самых первых, лет, когда мы были все вместе — Галия Жалдыбаева, Олег Адоров, Альфира

Ярошенко, Саша Чернухин…

Великий русский поэт Амантай Утегенов сказал: «Но мной никто не станет. А я не повторюсь». Талант — явление штучное, и в творчестве каждый человек уникален, он не имеет цены.

В наше время чаще это понимается так, что он ничего не стоит…

P.S. 1991 г. Программа «10 1/2», отрывки:

* * *

«Новые фильмы, те, которые идут в кинотеатрах нашего города, продолжают воспитывать светлые идеалы у нашей молодёжи. Скоро выходит на экраны новый фильм с безобидным названием „Высший класс“. Героиня — валютная проститутка. Если раньше героинями были передовые свинарки и безотказные комсомолки, то теперь престижно трудиться на иной ниве. У проституток берут интервью, их показывают в кино. Даже жалеют.

Возможно, скоро утвердят звание „Заслуженная проститутка СНГ I степени“. В общем — „высший класс“.

Спешите смотреть в кинотеатрах города».

Поздравления программы «10 1/2».

«Народных депутатов Арынова, Кулагина, Тулеуова мы поздравляем с покупкой новых машин. Очень повезло народным депутатам: они сумели приобрести машины в канун Нового года, до подорожания, по госцене. И ещё народный депутат Кулагин успел продать свою старую „Таврию“. И успел съездить во Францию, вместе с руководителями области Золотарёвым и Тампаевым.

Телезрители не разделяют нашей радости за успехи в личной жизни народных избранников. Они считают, что в этих историях что-то не так.

Тем более, что практически не найти сейчас простого смертного, которому перед Новым годом, даже по очереди, выделили автомашину».

* * *

«Внимательные зрители телесериала „Богатые тоже плачут“, наверное, обратили внимание на определённый стиль обращения героев друг к другу. Так, они обязательно перед именем человека называют его специальность — „архитектор Мендис Абаль“, „доктор Гомес“.

Если человек ничего не делает, то он просто „сеньор Луис Альберто“.

Представьте, что у нас где-то за обеденным столом близкие люди обращаются друг к другу: „Положи-ка ты мне селедочки, милиционер Иван Иваныч“, либо: „Пододвинь-ка поближе салатик, космонавт Федя“.

В нашей стране так не принято. И, скорее всего, оттого, что никто у нас не может ручаться, что будет всё время доктором или адвокатом. Учитель в любой момент может стать плавильщиком, инженер — шофёром, а чабан — членом парламента.

Может, потому и не клеятся у нас нигде дела, ведь не чувствуем мы потерь оттого, что пироги у нас зачастую печёт сапожник, а пирожник тачает сапоги».

* * *

«4 мая многие годы у нас в стране отмечался странный праздник, который назывался: „Завтра, 5 мая, День печати“.

Дело в том, что 5 мая родился Карл Маркс, и на одном листке календаря совершенно неприлично было упоминать о каких-то ещё второстепенных праздниках. И поэтому каждый год 4 мая в календаре писали: „Завтра, 5 мая, День печати“.

Такой вот выходил праздник и поэтому у нас есть повод поздравить всех пишущих и печатающихся журналистов с профессиональным праздником.

Желаем лёгкости пера и счастья в личной жизни.

P.S. Учитывая изменившееся соотношение сил, поздравляем всех с новым праздником, который, наверное, будет называться: „Завтра, 5 мая — День рождения Карла Маркса“».

Криминальная хроника

«Вчера, в 23 часа 30 минут на Ленинском проспекте нарядом милиции был задержан предприниматель Шипикин. При обыске у него был обнаружен и изъят баллончик с газом для самозащиты.

Теперь у предпринимателя Шипикина нет средства индивидуальной самозащиты, а у наряда милиции ещё одно добавилось».

1991 г., программа «10 1/2», Актюбинская областная студия телевидения.

Трупный яд Венички Ерофеева, релятивизм и свальный грех

Переписка с друзьями-писателями из Оренбурга по поводу выхода в свет книги моих рассказов «На снегу розовый свет…». (Екатеринбург, Средне-Уральское книжное издательство, 2006 г).

Н. Корсунов — А. Дунаенко

Союз писателей России.

Оренбургская областная общественная писательская организация.

Уважаемый Александр Иванович!

С Вашей книгой ознакомился известный российский писатель, лауреат многих Всероссийских литературных премий Пётр Николаевич Краснов. Как увидите из его рецензии, он резко отрицательно отнёсся к Вашему творчеству. Я тоже прочитал Вашу книгу и, увы, полностью разделяю мнение рецензента. Безусловно, Вы человек не без «божьей искры» но талант свой направили по ложному пути. И Вы, и Ваши поклонники глубоко заблуждаетесь, полагая, что с русской классической литературой покончено: она стряхнёт вас со своих ног, как грязь, и пойдёт дальше столь же славно, как и прежде, во имя великой духовности и нравственности в человеке.

Вы уже «большенький», и потому ничего не советую, ни к чему не призываю.

Председатель правления Н.Корсунов.

П. Краснов — А. Дунаенко

Отзыв на книгу А. Дунаенко «На снегу розовый свет…» (17а.л.)

Уж очень широк (русский) человек, не мешало бы сузить — примерно так можно выразит своими словами эмоциональную досаду Достоевского. Но вообще-то у «Человека», как понятия духовного, диапазон не так уж и велик, это остров, со всех сторон окружённый своей же необъятной животной стихией…

Как остаться человеком, хотя бы и не с прописной буквы? Сдаётся, это главный вопрос человеческой культуры вообще, и ответ она давала всегда в виде схожих систем табу, завершённых две тысячи лет назад Нагорной проповедью Христа. Выводы

достаточно просты: не заходи далеко со своего «острова», на отмелях «душевной» жизни ещё можно побарахтаться, а дальше — пучина, погибель для человека…

Автор хочет доказать, что умеет плавать в этой жиже? Ходить по этому зыбуну, «яко посуху», и возвращаться назад? Мнит себя разведчиком этих «глубин»? А не получится так: два раза нырнул — один раз вынырнул? Чаще всего так он и бывает.

А с другой стороны, так ли уж нужны эти столь опасно добываемые «секреты» читателю и в открытой именно публикации? Каждый о своей трясине-пучине сам частью знает, частью догадывается — есть ли нужда выносить это на поверхность, делать фактом дневного сознания и, более того, обсуждения, публичности? И, главное, что нам даст это выставление исподнего, преодоленье и пре-ступление табу — большую свободу греха, рационализацию половых отношений и превращение любви в секс, мощный рывок рыночной сексиндустрии? Похоже, что так, другого что-то не видно. В познании человека это даже не тупик, а регресс, попятный ход, перенос «горячей» проблематики человека из ноосферы в зоосферу. Ну, «заголились» до непотребности, а дальше куда? Только в свальный грех, в извращенчество.

Менее всего хочется в чём-то переубеждать такого «продвинутого» умельца и его фанаток из предисловий. Самое слабое место автора — его цинизм, переполняющий его же якобы «светлый мир». Самоотравление в таких случаях неизбежно, «вкусненький» трупный яд Венички Ерофеева давно уже, по всему судя, в крови Дунаенко, и здесь стоит разве что посожалеть о его авторских возможностях, бывших когда-то, можно предполагать, неплохими — до соблазна, до зацикленности на сексе. И зря поклонницы «обвиняют» дунаенкову «заголенку» (в отличие от «обнаженки» художников и скульпторов — настоящих, разумеется) в интеллектуализме. «Физиологическая психологичность» — пожалуй, умение на среднем уровне владеть словом — несомненно, юморок грязного колера — да. Интеллектуальность же (истинная, полная, а не компьютерная «считалка», духовность — это нечто совсем другое; и с чего это они, раздвинуто-продвинутые, порешили, что и сами они — интеллектуалки? Интеллект — это не одни только умственные способности, а прежде всего совесть, стыд как защита частички божественного в себе, высшего. И если «местечковый менталитет в традициях Шолохова» уже недоступен их пониманью, непостижим, то лучше бы нашей люмпен-интеллигенции о нем и вовсе не упоминать.

Логика цинизма такова, что обратного хода из него считай

что и нет. Вместе с релятивизмом во всем, с безбрежной половой и прочей толерантностью это, как ни странным покажется автору, вполне обустроенный им для себя тупик. Конечно, он может продолжать в том же духе и с тем же, крепчающим год от года, душком, и в нынешних читателях нехватки не будет, в потребителях, вернее; но что-нито стоящее, «выше пояса» он уже вряд ли напишет, для этого ему пришлось бы слишком усиленно притворяться и налегать на свою «технику», мастеровитость, а этим в серьезной литературе мало кого обманешь. Работа на разложение, на порок мстит прежде всего самому «работничку» — по-евангельски: горе тому, через кого соблазн входит в мир… Иронизмами тут, как ни крути, не отделаешься.

Да, пишет А.Дунаенко вполне профессионально, не без игровой затейливости, даже изощренности. Но секции «секс ради секса» в организации нашей нет и надежд на ее возникновение не предвидится.

Литконсультант П.Краснов

А. Дунаенко — Н. Корсунову

Уважаемый Николай Фёдорович!

Спасибо, что так оперативно отреагировали на мою просьбу дать оценку книге «На снегу розовый свет…». Вернее, просьба была принять меня в Союз писателей России. Потому что я книгу написал. Ну а Вы, как я думал, прочитав эту книгу, над моими вымыслами слезами умиления обольётесь и, не откладывая дела в долгий ящик, примчитесь ко мне в Слюдяное с фотографом, на белом лимузине, чтобы прямо на месте принять меня в ряды избранных. Чтобы было у меня удостоверение, что я Писатель. А то у нас тут в районе без удостоверения, просто за книжку, никто не верит.

Простите, грешен, я уже представлял себе этот белый лимузин, который задним бампером упирается в магазин, что у нас на одном краю села, а капотом — в мой дом, который стоит на другом конце.

Но — не случилось, не сбылось. Мне не только не нашлось места в калашном ряду Союза писателей России, но незатейливыми своими историями вызвал я у этих писателей гнев и осуждение.

Особенно нового для меня в этих филиппиках не было. Но вот что озадачило: столь щедрый на всяческие отрицательные определения отзыв на книгу написал Ваш, Николай Фёдорович, литконсультант Пётр Краснов. Другой же Ваш консультант, Юрий Плотников, пятнадцать лет назад дал моим рассказам совершенно противоположную оценку. Литконсультант Союза писателей Казахстана Юрий Плотников. В то время в Союзе

писателей Казахстана Вы занимали высокую должность и наверняка хорошо его знаете.

Юрий Плотников, собственно, всю эту кашу с книгой и заварил. «Книгу! — стал он кричать, прочитав „Принцессу, дочь короля“ — вам нужно книгу издавать!». Дал почитать мои рассказы сатирику Медведкину (да, да, тому самому, которому путь в литературу открыл великий Райкин). Медведкин хохотал, обещал написать к книге предисловие.

Тут и Вы можете снисходительно улыбнуться, как Вы умеете: смеялись, мол, тёртые литературные волки над мальчишкой из провинции. Ан нет. Рукопись приняли в издательство, присвоили ISBN, поставили в план. Тираж ещё был обозначен какой-то, по нынешним временам, совершенно немыслимый. Потом, как водится, откладывали, переносили издание с квартала на квартал. Потом я забрал у них рукопись, потому что знакомые кооператоры пообещали выпустить книгу в считанные дни у нас, в Актюбинске.

А кооператоры меня обманули.

Так вот что я думаю, Николай Фёдорович. Вот ведь кто-то из Ваших консультантов не прав! Кто-то, мягко говоря, не разбирается в предмете, который ему доверили. Или Юрий Плотников, тот, что был в Алма-Ате, при Союзе писателей. Или — этот, оренбургский, Пётр Краснов, лауреат и дипломант.

Как хотите, а я почему-то больше верю Плотникову.

Получил я рецензию, и будто меня на тридцать лет назад в прошлое вернули.

Тогда тоже, году эдак в семьдесят шестом, устроила мне выволочку консультант из Союза Советских писателей О.Прохорова. Из самой Москвы пришёл пакет с гневными отповедями. Я ещё подумал: их что, этих консультантов, этих советских писателей, где-нибудь злят специально, чтобы они так с людьми разговаривали? Подолгу им кушать не дают? Держат в холодной ослизлой камере, и, может быть, сверху на них писают?..

А ведь я тогда тихий был. Совсем ещё белый и пушистый. Никаких там сексов, развратов и, этой, как там, у Краснова — «заголенки».

Ну, вот пара строчек из того прошлого:

Рассказ «Про Клима»:

«По-видимому, клопы расположились на теле Клима очень аккуратно, так, чтобы никого из них он не мог придавить. Клим не прогонял их. Ему нравилось, когда по утрам они собирались все вместе, единой семьёй и, по-товарищески, стараясь не потеснить соседа и не примять лапки друг другу, размещались на

поверхности всего тела Клима. Если Клим спал, они устраивались у него и на веках, но только он просыпался, насекомые тут же, с готовностью, сбегали, разыскивали другие свободные участки тела и рассаживались там…».

В приложении к обязательному пакету ругательств, О. Прохорова сказала, что пишу я не то, что нужно, или, как уже спустя тридцать лет Вы, Николай Фёдорович, ещё раз подтвердили, что «талант я свой направил по ложному пути».

Вот сейчас я понимаю, как ей всё-таки было трудно точнее сформулировать в чём, собственно, заключается моя «неправильность». Образ врага был размыт, неясен. Всеми фибрами О. Прохорова чувствовала, что тут, с этим Дунаенко, что-то нечисто, но обвинить в чём-то конкретно улик явно не хватало.

В этом смысле Вашему Петру Николаевичу повезло, конечно, больше. Я стал писать об отношениях мужчин и женщин. А между ними всегда столько всего происходит, что образ врага — вот он: ну, во-первых, сама Женщина. А с ней — ну, это практически, неизбежно — секс, разврат, ну и, конечно, извращения всякие.

Я, конечно, уже предполагал, что ничего хорошего от Вас не услышу. Вот это: «Хе-хе! Ха! Ха!», ещё не видя самой книги. «Много, мол, вас сейчас развелось… писателей…». А потом, раскрыв наугад: «О! ЧЛЕН! Да я и читать её не буду!». Я тогда подумал: — А вдруг бы пришёл не я, а кто-нибудь другой. И было бы там написано, к примеру: «Но, к счастию, проворный Гавриил, Впился ему в то место роковое (Излишнее почти во всяком бое), В надменный член, которым бес грешил…».

Вот бы не повезло парнишке! Но вслух я начал оправдываться: «Вы посмотрите дальше, там не только, про член, там и про другие… органы…». Не помогло…

Вообще, прочитав Ваши рецензии, Ваш категорический и безоговорочный мне отлуп, как кандидату в члены (фу, ты, слово-то какое поганое! Ещё хуже то, на что оно в своей двусмысленности намекает… Представляю, какое чувство омерзения Вы испытываете, вынужденные прикасаться каждый день к этой гадости) да… в члены Союза писателей России — прочитав, я запутался. Я подумал: про чью это книгу Вы такое написали? Может, Вы чего напутали? Попалась к Вам в руки книга какого-то развратника, маньяка, дыбила, ну, Вы к нему — по всей строгости. А потом, по ошибке, письмецо с такими злыми словами мне и отправили…

Вот я опять рассказы свои просматриваю… «Нелюбимая»… Ну, где же тут секс:

«Выдержанно, я чуть расстегнул мокрую твою блузку, и

больше в тот день у нас не было ничего.

И даже потом, когда было, я не любил, не полюбил тебя. Я любил других, а к тебе приходил через годы и месяцы, как будто впереди была целая вечность, и мы не умрём никогда, и в любой момент я могу прийти к тебе, к нелюбимой…»

Вот и всё. Опаснее в этом рассказе мест нет. Если Ваше воображение распалилось только от одного слова «было», то ведь это восприятие Ваше сугубо личное, индивидуальное.

И страшное слово ЧЛЕН, порочащее Вашу действительность, в рассказе ни разу не употреблялось.

А вот сцена из рассказа «Арбуз»:

«Среди лопухов, прямо на песке, острым сучком, я разорвал на куски арбуз, красное, сочное корейское чудо. Это был самый вкусный арбуз в моей жизни. Мы с Алиской окунали лица в хрустящую сахарную мякоть, не прожевав, целовались. Излишки сока текли по Алиске, я их собирал губами — и не было никаких излишков. Я кружил её на руках, я отнёс Алиску к тёплому ручью и там целовал, целовал, целовал. Импортные плавочки совсем растворились в воде, я увлёк Алиску на берег.

Никто не мешал. Ни бабка. Ни мороз. Ни одинокий путник. Я самовыражался, как мог. Даже Алиска мне не мешала. Мне бы остановиться… Забыл, что это мы для них, а не они для нас. Я выпил Алиску залпом…».

Где тут секс, Николай Фёдорович? В слове самовыражался? Выпил?

И где Вы с Петром Николаевичем тут грязь нашли?

Почему-то «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына вспомнился. В советском концлагере показывали для заключённых фильм. То ли «Свадьбу с приданым», то ли «Свинарку с пастухом». Какое-то партийно-целомудренное, идеологически выдержанное, кино. Так вот. После просмотра весь пол в зрительном зале оказался забрызганным спермой.

Никак нельзя предугадать, как твоё слово отзовётся.

А то ещё у кого-то из античных авторов забавный был описан эпизод. Во время всенародного праздника, Дня богини Венеры, решили по традиции, эту самую Венеру, в виде статуи, по улицам пронести. А какой-то шалун, улучив минутку, подобрался к статуе поближе, прильнул к ней и постарался получить своё мужское удовольствие. С одной стороны, его будто бы и понять можно: Венера женщина красивая, всё при ней, да к тому же, ещё и голая. Ну, подумаешь — из мрамора. У каждого свои недостатки.

Оно ведь, не всякому человеку доступно откровение, что изображение обнажённой женщины на картине, высеченное из

камня, или же её описание в художественном произведении не обязательно направлено на немедленную мастурбацию. И некому подсказать иному пытливому искусствоведу (восполнить ему пробел в воспитании), что ежели сдержать в себе первый порыв, слегка остыть, охолонуть, то можно в себе и какие-то другие чувства обнаружить…

Возможно, доселе совсем ещё и не изведанные…

И вот у меня сомнения.

Может быть, Вы, Николай Фёдорович, как и обещали, и правда, ничего из моих рассказов так и не прочитали, доверились профессиональному литератору Краснову? Потому что одушевлённый читатель обязательно остановился хотя бы на статье об Амантае Утегенове. Он (Амантай) живёт от Вас в двухстах километрах. Не захотелось ли Вам встретиться с ним, просто поболтать, попросить выступить перед Вашими оренбургскими поэтами?

«Кто я?
Цивилизация белка?
Или плевок случайный?..»
«Я одинок, как запятая
В конце стремительной строки…»

Не впечатлило?

В Вашем окружении, что? — полно таких поэтов? Или захлестнул, засосал уже Вас безнадёжно «местечковый менталитет» и всё, что за глухими воротами Вашего Областного Союза — во внешнем мире — жалкий лепет дилетантов и графоманов?

…Да и какой-нибудь из моих рассказов должен же был задеть, царапнуть у Вас хотя бы одну струнку?

А ведь и получилось (если Вы, правда, читали книгу), что все рассказы показались Вам на одно лицо, как китайцы, и, действительно, всё время только одну струнку и задевали.

Я всматриваюсь в свои рассказы, перечитываю, наверное, уже в сотый, в тысячный, раз. Ну, не нахожу я в них того, что вызвало в Вас такую бурю возмущения.

Простите, Николай Фёдорович, но, кажется, временами Вы выпадаете, перестаёте чувствовать собеседника. Что ли от величия своего? Оттого ли, что в Оренбурге Вы — признанный прогрессивной общественностью, классик? Что сам Михаил Александрович Вас, в гроб сходя, благословил?

Ведь вся эта риторика, все речевые штампы, шаблоны, с помощью которых Вы с Петром Николаевичем объясняли мне мою

несостоятельность, — они хороши для выступления на собраниях, для митингов. Чтобы, указывая на меня пальцем, пудрить кому-нибудь мозги.

Возможно, для доклада где-нибудь на Съезде Советских писателей.

Вы вообще-то понимаете, хотите ли понимать, о чём мы с Вами разговариваем? Вы меня слушаете? Слышите? Любите ли Вы женщин? Смеётесь ли, когда Вам рассказывают анекдоты? Или — только над «приличными»? Типа: «Возвращается муж ночью домой из командировки, заходит к жене в спальню, а там — ничего интересного»?.. Что? Всё равно не смешно?

Как Вы вообще относитесь к устному народному творчеству, к фольклору? Не тянет ли запретить, отредактировать, выступить в печати с суровым осуждением? Или фольклор отдельно — литература — отдельно? Ваша литература?

Не бросает ли Вас в холодный пот оттого, что в снах приходится иногда видеть такое, из-за чего литературный критик Ваш, Пётр Николаевич, если бы узнали, то никогда бы больше не подали Вам руки?..

Пробовали ли Вы работать над собой, чтобы Вам никогда не снилось ничего такого?..

Кто для Вас Пьер Паоло Пазолини — пошляк, режиссёр порнофильмов, или Великий Мастер? Какая половина тела — верхняя или нижняя включается у Вас при просмотре его работ? (Хотя по части выше-ниже пояса, опять простите, это не к Вам, хоть Вы и подписались, а к Петру Николаевичу).

Видели ли Вы «Империю чувств» Нагиса Ошимы?

А как Вам фильмы Киры Муратовой, где нет-нет, да и проскользнёт «заголенка»?..

Или Вы уже мессия и у Вас — миссия?.. Вразумлять, воспитывать, указывать единственно правильный в литературе путь?..

В Журнале «Гостиный двор», в № 18 за 2005 г., Вы опубликовали статью «На родной земле». Вступление — чуть ли не плач по Союзу Советских писателей. «Кое-кто хочет забыть, принизить…». Ну, понятно — был он Вашим кормильцем, с ним связаны Ваши лучшие годы. Но что хорошего было в Вашей советской литературе? Кастрированной, дистиллированной, а потом ещё — отфильтрованной. Если и появлялось что-нибудь приличное, вроде «В Окопах Сталинграда», «Чевенгур», «Один день Ивана Денисовича», так оно, если не сразу, то через время становилось антисоветским. В 70-х годах прочитать «Мастера и Маргариту», «Театральный роман» можно было только в сброшюрованных страничках из «Нового мира», а за хранение

«Роковых яиц», «Собачьего сердца» сажали в тюрьму.

Язык советской литературы был более всего приспособлен для контактов с властью (уж каких, пусть там Пётр Николаевич пофантазируют) и, таким образом, к русской классической литературе, если и имел отношение, то неприлично опосредованное. Писалось всё с оглядкой на партию, которая себя называла мудрой и на органы, которые называли себя справедливыми.

Советский писатель — успешно мимикрирующая особь. С уходом коммунистов из власти совписы быстренько сменили вывеску и уже не с красными флагами, но — с хоругвями пошли в новую жизнь. Теперь уже — как Союз писателей России.

И, что забавно, даже картины современной жизни им удаётся складывать из пазлов сталинской эпохи.

И как-то это всё ладненько, без скрипа, увязывается с рассуждениями о Нагорной проповеди.

Скажите, Николай Фёдорович, а в Вашей организации креститься с КГБ в один день начали? Или чуть позже — по сигналу?

Вы среди прочих находились в своём Советском Союзе писателей, как в палате, где чистый, обработанный ультрафиолетовыми лучами, воздух. Не настоящий. Но это — Ваш воздух. Вы к нему привыкли и хотели бы заставить всех дышать воздухом Вашего литературного морга, безжизненной этой дрянью.

И — кто не с Вами — тот против Вас.

У Вас — Шолохов, Симонов «и сотни других».

У меня — Мандельштам, Булгаков, Пастернак, Ахматова, Платонов, Довлатов, Высоцкий, Хармс, Бродский, Гумилёв, Аронзон, Бунин, Цветаева, Домбровский, Солженицын, Венедикт Ерофеев — писатели, не имеющие никакого отношения к советской литературе. Но это — Русская литература. Да, именно та, которая, как Вы верно изрекли, «пойдёт дальше столь же славно, как и прежде, во имя великой духовности и нравственности в человеке». Но вот кого при этом она будет отряхивать с ног, решать не Вам. Простите, Николай Фёдорович, но не тот у Вас уровень. Не тот масштаб.

Я понимаю, Вам уже под 80. Но Вы продолжаете руководить писательской организацией. И — ничего не знаете, да и знать не хотите о современной литературе. «Хе-хе! Ха-ха!» сказали вы, услышав от меня о существовании в Интернете сайта Проза. ру.

Да, конечно, Вы выше этого. И Вам ничего не говорят имена О.Петров, Борис Гайдук, Сергей Алхутов, Фурта Станислав, Scriptor, Анна Прудская. Вы не знаете о поразительной прозе

Владислава Ивченко, Вам наплевать на то, что Европа читает книги автора Прозы Андрея Геласимова — у Вас в Оренбурге свой писательский хутор, где живёте Вы со товарищи, подобно русским староверам в Латинской Америке. Без телевизоров и Интернета. Утюги — на угольях. А из электроприборов — только лампочка Ильича.

Поднимите веки! На дворе не только другое лето — там качественно новое поколение. Не пуганное. Молодые юноши и девушки — они уже в двадцать лет перечитали множество книг, названия которых нам с Вами и не снились. Они знают языки, их кругозор не ограничен рамками марксистской философии, книжками советских писателей о цементе, бесполой любви и вечной битве за урожай.

Ваш литконсультант походя, уничижительно отозвался о женщинах, написавших предисловия к моей книге.

«Фанатки из предисловий… и с чего это они, раздвинуто-продвинутые, порешили, что и сами они — интеллектуалки?»

«Раздвинуто-продвинутые» — это у него смешной юмор такой. Очень чистого колера фразочка. Почти, как у самого Петросяна.

Живой же человек. Тоже иногда сострить хочется.

Наверное, всё-таки, у Петра Николаевича какие-то комплексы по отношению к женщинам. Что сделали они ему? Или — не сделали?

Иначе откуда такая озлобленность? Да и мысль, слегка усложнённая, вызывает у него раздражение.

Вот я совершенно спокойно отношусь к тому, что во многом женщины, нас, мужчин, превосходят. Уж так устроил Господь, и нам нужно к этому подстраиваться, не теряя лица.

У нас ведь с Петром Николаевичем, как я смею догадываться, даже музы выглядят по-разному.

У коллеги она в «исподнем». На которое, если взглянуть при дневном свете, сделать «фактом дневного сознания», то, по осторожному предположению, волосы могут встать дыбом.

Но ейное «исподнее» скорее может стать непреодолимым препятствием на пути к совершению греха, потому и творчество в этом смысле выглядит у Петра Николаевича абсолютно безукоризненным.

У меня же Муза — в красивом белье, не чужда лёгкой косметики. От неё приятно пахнет…

Конечно, что тут потом напишешь…

А «фанатки»… Вы знаете, мне было очень приятно, что книгу «На снегу розовый свет…» украсили предисловия женщин, которых так, с присущей ему деликатностью, назвал мой

литературный судья.

Александра Валаева, Лара Галль, Милла Синиярви — это цвет Прозы. ру.

Лара Галль — «Королева Прозы 2005 г».

Если на страничку Лары собрать все звания и награды, которые присуждались ей в Сети, то страничка просто лопнет.

Допускаете ли вы, Николай Фёдорович и Петр Николаевич, что литературные способности Лары отмечались кулуарно, компанией пэтэушников?

Уверен, что если бы за парту посадили писать сочинение Петра Николаевича и Лару, то «известный российский писатель и лауреат» просто бы «не потянул».

Снизойдите, Николай Фёдорович — загляните на Прозу к нам, убогим. Поучаствуйте в форумах. Выскажитесь. Выдайте пару абзацев. Догадается ли кто по одним Вашим текстам, что Вы — классик? Без дополнительных пояснений, что Вы — Член Союза, Председатель и прочая?..

Ну вот. Вроде, как и всё. Извините, если что не так.

Никого «раздвинуто-продвинутым» в ответ не обозвал. На чём кто зациклился, постарался оставить без внимания. Если мои оппоненты хотят, то я даже могу согласиться с тем, что и словом я не владею и юморок у меня так себе.

В общем, ударили меня по правой щеке — подставляю левую.

С уважением — тоже оренбургский писатель -

Александръ Дунаенко.

P.S. Жаль, что мы с Вами, Николай Фёдорович, на память не сфотографировались. А вдруг, я — будущая слава и гордость Оренбургщины?

Вы бы потом, листая семейный альбом, хвалились внукам и правнукам: — Вот, мол, тут я — и Михаил Александрович Шолохов. А тут я — и Александр Иванович Дунаенко. Ну, да, тот самый. Мы с ним когда-то переписывались…

Послесловие

Вот я заметил одну особенность своих рассказов, которая, хоть это может показаться и странным, мне льстит.

В своём большинстве у тех читателей, которым они нравятся, очень высокий показатель IQ. Выше, и иногда намного выше, чем у меня самого. Виктор Ганчар, Константин Смольников, Анастасия Галицкая, Виктор Винчел… Мне интересно с ними общаться, читать их произведения. Кроме литературной одарённости, это ещё и высокообразованные люди. На сегодняшний день они — «мои университеты».

Выбравшись из своей деревушки, притащился я за четыреста километров в Оренбург в надежде встретиться с собратьями по

перу, испытать радость живого общения.

Встретился. Испытал. Живого общения больше не хочу. Хочу обратно в Интернет, на Прозу.

А насчёт книги. И — сурового ответа мэтров и корифеев оренбургской литературы…

Нет, конечно, дело тут не в эротике, которая в разной мере (конечно, чего уж тут отпираться) присутствует в большинстве рассказов сборника «На снегу розовый свет…».

А как же в других, где эротики нет?

Я ещё хотел поспорить, привести примеры. Потом вдруг себя остановил. Зачем? Ведь смысл рассказов моими критиками просто не усваивается. Мы с ними пишем, говорим, живём на разных языках. И в разных странах.

Чего я хотел? Чего ожидал от правопреемников Союза советских писателей? Кто для них я? — Выскочка из глубинки, взявший на себя смелость, нет — наглость назвать себя писателем!

Но — не понимать Венедикта Ерофеева?! Не слышать, не почувствовать его текстов?!

Человека. Личность.

Писателя, к имени которого прикасаться нельзя, не помыв прежде руки.

И ещё попытаться швырнуть камнем в его бессмертие?..

Они его физически ненавидят за гениальность.

За инакомыслие.

За то, что на его фоне их просто нет.

Гений и — злодейство?

Несколько лет назад на Прозе. ру была опубликована статья Натальи Воронцовой-Юрьевой о Марине Цветаевой — «Две темные луны. Цветаева. Версия». Как это на сайте водится, статью, пока на ней стояла свежая дата, прогрессивная общественность Прозы почитала, а потом, как это водится на сайте, переключилась на свеженькое. Я взял на себя смелость тоже добавить что-то и от себя к тому, о чём рассуждали и спорили читатели статьи. Но на мне, собственно, весь разговор и закончился. Потому что — кто же на Прозе читает произведения годичной давности? А тема, которую затронула Наталья Воронцова-Юрьева, срока давности не имеет. Гений и злодейство — несовместны. А, если их совместить — то что?.. Привожу отрывки из статьи Натальи Воронцовой-Юрьевой и свою часть рассуждений на эту тему.

Александръ Дунаенко.

«Про характер Цветаевой говорили много — и многое. Про ее ранимость, гиперчувствительность, тонкость внутреннего строя, обнаженность чувств. И в основном все эти характеристики базируются исключительно на письмах Цветаевой, ее дневниках и творчестве. То есть на словах. Какова же она была в поступках?» «…Самое страшное, что я когда-либо читала в биографии Цветаевой, это ее отношение к своей второй дочери. Это были настолько нескрываемые факты, что даже самые благостные исследователи Цветаевой не могут их оправдать…» «…Анна Саакянц — об одном из тех писем Цветаевой, написанных ею в больницу П. Эфрону: „Это — не просто частное письмо, а литературное произведение. С годами в Цветаевой все усиливается это свойство — делать литературу из своей жизни, художественные произведения из писем, которые она будет писать с черновиками, как стихи и прозу“». «Делать литературу из своей жизни… Добавлю от себя существенную деталь — КРАСИВУЮ литературу. А какую красивую литературу можно было сделать из жизни слабого ненужного ребенка, которым нельзя похвастаться перед знакомыми?» «…приведу еще одну цитату из письма Цветаевой В.Розанову все того же, 1914-го, года: „Наказание — за что? Я ничего не делаю нарочно“». Лично я в этом сильно сомневаюсь. Я много думала, почему она покончила жизнь самоубийством? Устала? Выдохлась? Возможно. Но если попытаться разглядеть причину в некоем метафизическом смысле, то не в том ли суть, что «гений и злодейство несовместны»? И тут всегда остается только ждать, кто из этих

двоих окажется сильней и перетянет этот, как она писала, «надрезанный канат» на себя. Я видела «злодеев», которые некогда были талантливы, — талант умер в них, но они сами живы. Цветаева — обратный случай. Разумеется, у нее бывали слабые стихи, но год от года, невзирая ни на что, ни на какие трагические повороты, ее гениальная сущность становилась только мощнее и крепче — и это невозможно отрицать. Канат лопнул. Гений Цветаевой победил. «Две темные луны. Цветаева. Версия.» Наталья Воронцова-Юрьева Кажется, у Саши Чёрного: У поэта умерла жена. Он погоревал, схоронил, потом пришёл домой и написал стихотворение: «У поэта умерла жена». Дословно не помню. Не исключено, что стихотворение получилось хорошим. Может, даже — гениальным. А поэт, с точки зрения нашей, человеческой, всё-таки, падла какая-то.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
…
…меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Пушкин

Вопрос, который Вы затронули, никогда не будет иметь однозначного ответа. Потому что правы те, кто считает, что гению, Юпитеру дозволено то, что для нас, простых смертных, грех и преступление. И правы те, которые никаким собранием сочинений не уравновесили бы на чаше весов слезу ребёнка. Да, Марина хитрая, коварная, расчётливо-хладнокровная. И письма она пишет, как дополнение к академическому собранию сочинений, и любит-не-любит — не поймёшь, зато стихи получаются замечательные. И не хозяйка она, и не мать. Жена ли? Я не знаю — если пройтись по художникам, музыкантам, поэтам, какой бы процент добродетелей удалось бы у них обнаружить? Кто кого сколько раз бросал? Был предателем? Еще, наверное, есть грех человечий, а есть смертный грех. Так вот, как мне кажется, творческая личность для человеческого греха легко уязвима, но не совершит греха смертного. А вообще безгрешный человек никогда не станет поэтом и не напишет музыки. Так уж устроено. Так для них предписано.

Зевес сегодня в гневе на Гермеса —
В кузнечном деле ни бельмеса,
Оказывается, он не понимал,

Но, громовержец, ты же это знал!

Не знаю, к месту ли эти стихи Мандельштама, но я всегда вспоминаю их, когда Бог вдруг удивляется какому-нибудь человеческому проступку и насылает за это наказание. Ведь проступок-то был Им самим запрограммирован, Он знает всё наперёд! Не пропоёт петух, как отречёшься от Меня трижды. «Бог не может освободить от ответственности — он дает право выбора, и человек, сделав его, сам несет ответственность за свои предпочтения». Наталья Воронцова-Юрьева. — Нет, нет ни у кого возможности выбора. Иуда должен стать предателем, как бы он не любил Христа, а Христос должен умереть мучительной смертью. Если бы персонажи Священного Писания имели возможность выбора, рассыпался бы весь сценарий. У каждого есть возможность выбора, но куда, по какой дороге всё равно пойдёт человек — известно заранее. Поэтому и выбор-то этот выглядит, как насмешка: ну, что ж ты, мол, ведь была возможность пойти иным путём, а ты, сам зная, что это нехорошо, поддался-таки искушению! Да, поддался. Да, понимал. Предчувствовал, чем всё это может закончиться. И в пролёт не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать… Нажал курок. Потому что уже расписано всё, не отвертеться. Повесилась. Да. Почему ещё и это — страшный грех?

Спокойный ли, жестокий ли конец —
По воле Божьей всё равно случится.
Так велика ли разница в грехе
накинуть петлю, рюмкой застрелиться?
Чем лучше пьяница — самоубийцы?

Почему Довлатов, Даль, Высоцкий, каждый, поднося к губам смертельную свою рюмку, должны быть на Том Свете в отдельных от Марины палатах? Насколько сам убивает себя самоубийца? Что? Дьявол виноват? Нашептал, а Марина послушалась? А насколько он полномочен? Как Фрадков, на которого можно всё свалить, в случае неудачи? Не зря на голове у дьявола рога — он, при Господе Боге нашем, штатный Козёл Отпущения на все случаи жизни. Музыканты, художники, артисты, поэты — апостолы Божьи. Они заняты своеобразной культурно-просветительной работой. Рассказывая о Любви, они пробуждают в людях прекрасное. Не во всяком доме есть Библия, но все смотрят кино, слушают музыку. Из тех, кто хочет — те, кто могут — посещают театры. И подход-то к каждому индивидуальный,

многоуровневый: кому Бродский, а кого и от группы «Руки вверх» пронизывает пароксизм счастья. И многим из нас знакомо чувство очищения, когда искусство заставляет заплакать, а то и разрыдаться… Такое, наверное, должно происходить и от молитвы, но через сколько поколений молитва снова станет для нас чем-то привычным, обязательным? Я не могу молиться, Мой разум гибельной отравой объят… «Тому, кому больше дано, с того не только больше спрашивается, но тому и больше позволено». Наталья Воронцова-Юрьева. — Потому и позволяют, чтобы потом больше спросить. Штука-то вот в чем: небеса, авансируя своим расположением, не рассказывают наперёд, чем всё это кончится. Поэт живёт предчувствиями. Он подозревает, что тут что-то неладно: все люди, как люди, а ему вдруг, ни с того ни с сего вдруг дано право жечь сердца людей глаголом. Написать что-то такое, что будут собираться залы, стадионы, чтобы услышать его слова, покупать его книги, с благоговением произносить имя. Вдруг, ни с того ни с сего, отдельному смертному даётся, позволяется то, что доступно лишь Всевышнему. В конце концов, за радость написать несколько гениальных строчек, прочитать их первому встречному, которому это на хрен не надо, поэт и расплатится соразмерно своему дару. Он это чувствует, он думает об этом день и ночь. О том, что нужно будет как-то рассчитываться. Что это неминуемо. Как ни проси — пронеси мимо эту чашу, а её перед тобой поставят, и нужно будет испить её всю, до дна. Но процесс творчества обладает наркотическим свойством: он губителен и требует своей постоянной дозы признания. Вами восхищаются друзья? Сегодня этого достаточно. Завтра нужно, чтобы город. Послезавтра — мир. Доза должна возрастать. Вот я думаю — ведь в чём-то права читательница Клара Пеликан. Жизненные обстоятельства могут чудовищно исковеркать человека. Не будь в России войны, революции, так и писала бы Марина Ивановна свои гениальные стихи до глубокой старости, озолотила бы ими весь серебряный век. Ну, подумаешь — мужу рога, — с кем не бывает. Тем более, эпистолярные рога, рога в стихах — это почти безболезненно. Это экзальтированный Эфрон — На фронт! Под пули! Низшим чином! Потому что тоже был необыкновенным. А будь мужик попроще — ну, пожурил бы крепким русским словом, шлёпнул пару раз свою поэтессу — на том бы инцидент и закончился. Да, Мандельштам, в сравнении с Мариной Ивановной, почти святой. Не двуличничал. Будучи женатым, не писал параллельно стихов, с целью обольстить кого-либо на стороне. Детей в детский дом не сдавал. Но… Он же ещё и мужчина. Поэтому, просто многих пакостей он, в силу именно этого обстоятельства, и не мог

натворить. У женщины и органов чувств больше, и болевой порог, по сравнению с мужчинами, заботливо сдвинут Создателем к нечувствительности. Да, так вот, о дозе, о признании. Мир перевернулся с ног на голову. Ни мамок, ни — нянек, ни паркетов с роялями, ни лебедей в пруду. Страну захлестнули хамство, мракобесие, жестокость, кровь. Кому вы нужны в этом новом мире со своими песнями? Высоцкого официально не признавали, но он был нужен. Он это знал. Его талант был созвучен времени. А звуки песен Марины принадлежали ушедшей эпохе и вечности. И опять о дозе, и, может быть, наконец, о «двух лунах»? Так вот. Если в жизни поэта обстоятельства не складываются таким образом, чтобы обеспечить «формат» его творчества необходимым «стройматериалом», он провоцирует окружающую среду на то, чтобы получать всё новую пищу для своих произведений. Может, в каком-то смысле он и маньяк. Потому что он не успокоится, пока не нагребёт кучу этого сора, из которого создаст потом свой удивительный шедевр. Курица, если ей недостаёт кальция, склёвывает яйца, чтобы нести яйца. Крольчиха, если её не напоить перед родами, может потом съесть своих детёнышей, ибо ей нужно сохранить себя, как продолжательницу рода. Да, наверное, женщина, которая пишет гениальные стихи, может позабыть о своих детях… Чтобы потом от этого страдать и писать стихи. «У поэта умерла жена…». Искусство всеядно. В определённых случаях, оно заставляет своих жрецов ли, слуг ли, идти на людоедство. Совместны ли гений и злодейство? Здесь — однозначно — нет. Всё дело в том, кому из нас дано право определить: да, вот это — злодейство, а это — так, проступок, простительный человечий грех. Отсюда и оправдание Марины, либо её осуждение. Стоило ли быть ей в жизни такой, какой она была, чтобы мы получили от неё такие стихи? Затеряйся все её письма, воспоминания современников, чтобы мы никогда не знали и не узнали о них, стало бы от этого иным наше к ней отношение? К её стихам? Какой в быту была Сафо? Чего натерпелись от неё близкие, пока она вытворяла свои стихи? Давно это было. И, по большому счёту, нам, читающим её строчки, наплевать, насколько она была добродетельной. Нам наплевать, какой ценой заплатила Марина Цветаева за своё собрание сочинений. Скажете — нет? Дайте ей хорошую, правильную жизнь, за которую не будет стыдно перед благодарными потомками, с условием, что имя Марина Цветаева будет вычеркнуто из литературы! Допустим, небеса кому-то из нас предоставили такую возможность. Вычеркнем, или оставим всё, как есть — пусть вешается? Боюсь, что и здесь ответ однозначен: — нет, не помилуют Марину Ивановну

чувствительные любители прекрасного. Наташа, чтобы не металась, не раздваивалась между двумя лунами Марина Ивановна, Вы, будь такая гипотетическая возможность, неужто пожертвовали бы её стихами, чтобы выправить кусочек биографии?

Лев Толстой и кукуруза

«Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня дурным и низким; — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким…»

«Очиститесь сами, создайте из себя светильник христианской истины, докажите на себе возможность христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях — и это будет наилучшим исповеданием веры, наилучшими „поступками“, которые просветят людей. А когда люди будут сильны верою, чисты, как голуби, и мудры, как змеи, — они без борьбы победят все внешние препятствия, и мир переделается».

Люди упорно не шли в открытое для них царство Божие на земле. Отказы от военной службы по религиозным мотивам оставались единичными явлениями. Смельчаки, решавшиеся на них, терпели величайшие муки. Толстовские земледельческие колонии одна за другой распадались.

Т. Полнер. «Лев Толстой и его жена»

В детстве сказки очень любил читать. А в них часто главный герой попадал в ситуацию, когда нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Почти всегда герой всё это лихо преодолевал, но, случалось, когда последние медные трубы на пути его вставали,

то он в них и застревал.

Медные трубы представлялись мне медными трубами: блестящие, круглые. И я никак не мог понять, почему это перелезть через эту кучу блестящего цветного лома герою так трудно. Почему он вдруг на этом, последнем рубеже терпел поражение. Ведь прямой опасности от них никакой: в них не утонешь, от них не сгоришь, даже не обожжёшься, если их никто не разогреет.

Героя оправдывало только то, что он дурачок. И потому в подробности я уже не вникал и этот сказочный абзац насчёт труб привычно пропускал.

Но вот стал взрослеким. И постепенно пришло прозрение: медные трубы — это обыкновенная слава. Вот — когда она обрушивается на человека, он этого не всегда может вынести. Мутится разум, подгибаются колени. И самые достойные, быть может, самые заслуженные, люди, начинают допускать внутри своих мозгов определённое искривление. Мозги перестают трезво, объективно оценивать значимость, масштабы своего носителя по отношению к окружающему миру. И начинает герой со своей мозговой травмой вести себя так, что со стороны у его почитателей это вызывает некоторое замешательство, смешки и даже отстранение…

Прочитал я книгу Т. Полнера «Лев Толстой и его жена». Помню я и «Зеркало русской революции» и «непротивление злу насилием» из школьных учебников, но вот никогда почему-то не задумывался над тем, что признанный в мире классик много своих сил и таланта употребил на всякую белиберду. Стал всех поучать, как жить, как переустроить весь мир. Взялся переписывать Евангелие. Ну, вот скучно ему стало: всё перечитал, все языки выучил, создал всякие бессмертные творения — чем ещё заняться? Конечно, тут и думать-то долго не надо, — Евангелие переписать!

Но тут нужно представить себе обыкновенного, смертного, человека, на которого вдруг обрушивается всемирная слава. Его произведения публикуют лучшие литературные журналы в России и за рубежом, деньги ему выплачивают вперёд за рассказы, которые у него ещё в проектах и — тиражи, тиражи, миллионные тиражи книг по всей России!..

В Ясную Поляну паломники: — Отче наш! Направь на путь истинный!..

Ну, и — куда тут деваться? Нужно направлять!..

И — началось!

Богатство — это зло, его нужно раздать бедным. Кто не раздаёт бедным — тот сволочь. Нужно опроститься до народа.

Ходить в рубище, не чесаться, не мыться, есть простую пищу. Лучше — без мяса. Умственный труд — это не труд. Гонорары за Божий дар — это тоже деньги, отнятые у бедных бедных. Их тоже нужно раздать, раздать!.. И все бесстыжие богачи, эти графья и графинечки должны рассредоточиться по деревням, надеть лапти и сохой пахать землю, добывая из неё себе честное пропитание.

Ещё им нужна будет настольная книжка, в которой будет правильно написано, как верить в Бога.

И автор этой книги — Лев Толстой.

Читал я Полнера и думал, что всё это мне напоминает что-то до боли знакомое.

Всё раздать. Поделить. А, на столе, чтобы лежала одна главная для всех книжка. Про новую, единственную и правильную для всех, веру.

Лев Николаевич явился для России Карлом Марксом, который понятным русским языком изложил идеи построения справедливого общества, как он себе его представлял. Как Лафонтен пришёл, прижился в России, благодаря Крылову, так провокационное семя Маркса рассеялось по России, благодаря Льву Толстому. Я не говорю, что Лев Толстой любил Маркса, или же испытал на себе его влияние. Общего у них только бороды и убеждённость в несправедливом устройстве мира.

Владимир Ленин читал Маркса, а устроил почти всё, как мечтал Лев Толстой — всё отобрал у бессовестных богатых. И обещал раздать бедным.

Лев Толстой об этом мечтал, но он хотел, чтобы грамотное, просвещённое богачество прозрело мирным путём и само, без принуждения, отказалось от своих привилегий. Как всё это осуществить на деле, Лев Николаевич представить себе не мог. Конечно, ему и в голову не приходило, что для этого крестьян нужно почти всех перестрелять и заморить голодом, а интеллигенцию выгнать из страны и перестрелять тех, кто остался. Лев Николаевич был теоретик. Когда на практике ему пришлось столкнуться с тем, что нужно помочь голодающим, но это шло вразрез с его идейными убеждениями, он без колебаний идеями поступился.

В чём и его принципиальная разница в подходе к построению общества справедливости с Владимиром Ильичом.

Владимир Ильич ни на миг не задумывался и, во имя великой своей идеи, косил направо и налево.

И, я так думаю, если бы не Лев Николаевич, то ничего бы у него не получилось.

Лев Николаевич Толстой, это зеркало русской революции, раскачал лодку.

Человеческие мозги устроены так, что у людей умных они очень уязвимы для всяких умных идей. Эти умные идеи не всегда могут быть полезными, правильными. Но они имеют способность, как вирус, распространяться в других умных головах.

Читающая, образованная Россия была оглушена мощью, гениальностью художественных произведений Льва Толстого. И у неё возник иммунодефицит в отношении и всего остального, что стало выходить из-под его пера. Ему поверили на слово, что жить нужно на земле, от неё кормиться, а промеж собой достаточно ограничиваться мычанием. Сам Лев Николаевич приоритет отдавал не общению с какими-нибудь вольтерами и шопенгауэрами, а неграмотным мужикам, которые мямлили бред, созвучный его мыслям.

И ничего бы с Россией не было, если бы не мировая слава Толстого.

Его книги, статьи, трактаты издавались, перепечатывались, тиражировались всеми правдами и неправдами. Миллионные тиражи в то время, во второй половине девятнадцатого века! Это был первый Первый канал Российского телевидения! Которому многомиллионные массы внимали, разинув рот и развесив уши, без тени сомнения.

В общество вошли, зазвенели в российском воздухе свежие толстовские мысли: «мы живём неправильно!», «богатство — зло», «нужно самим сеять пашаничку, ходить в холщёвой рубахе и лучше, как Лев Николаевич, никогда не бриться».

Бороды отпустили не все и не все перешли на капусту с картошкой, но главная мысль о том, что богатство — это нехорошо, развивалась, растлевала умы россиян.

После чего уже из-за этого трухлявую стену государственности оставалось только ткнуть, чтобы она развалилась.

И её ткнул Ленин.

У Льва Толстого есть определённые черты сходства с руководителями нашего Советского государства.

Это — медные трубы. Медные трубы — это не только оркестры, это не только слава, но это — власть над людьми.

Толстой, благодаря своим медным трубам, обрёл власть над умами миллионов своих сограждан. Но, в отличие от своих вождей-последователей, он имел совесть. В решающие моменты жизни человеколюбие заслоняло от него пункты придуманных истин. Его идейные искания так и остались для него играми большого богатого мальчика. Который «землю попашет — попишет стихи». Чтобы удостовериться в правильности своих суждений, Лев Николаевич временами отвлекались от барской

своей суеты — пахали до седьмого пота, помогали таскать мешки в бедняцких хозяйствах.

Потом шли домой к себе в усадебку, славненько кушали и — либо почивали после трудов праведных, либо — писали главы своего Евангелия.

Не ради куска хлеба пахал землю Толстой, перед ним не стояла проблема прокормить семью этим своим первобытным трудом. Это была забава.

И вспахал Лев Николаевич поле и увидел, что это хорошо. И — ушёл. Какой будет урожай, хватит ли его на зиму? Останется ли чего посеять в следующую весну? И, вообще — какие на зерно цены, будут ли его покупать, если вывезти на рынок?

Остановился бы писать прокламации, поднял бы веки, посмотрел бы на свою жену, Софью Андреевну! Прислушался бы!..

Почему-то Льву Николаевичу и в голову не приходило, что никого он не может учить жить, потому что многого в этой жизни ещё не знает. Он не знает, как организовывать, как вести хозяйство. Все его попытки «поруководить», поуправлять сельским хозяйством оборачивались неудачами. Не разбирался Лев Николаевич в экономике, не знал, как налаживать хозяйственные отношения. Но он не находил тут какой-то связи со своими проповедями, которые обещали бедному сословию улучшение жизни. В своих деревнях он выступал, скорее, как разоритель. Этакий Никита Сергеевич Хрущёв своего времени.

(Собственно, Хрущёв — это и есть Лев Николаевич Толстой, у которого в руках оказались реальные механизмы воплощения в жизнь самых сумасбродных идей. Посадить в тундре кукурузу. Стереть разницу между городом и деревней, поотнимав у крестьян кур и коров…

У Льва Николаевича были всякие идеи, но никогда бы на свой народ он руки не поднял.

Это сделали за него другие. Которым идеи Льва Николаевича Толстого очень помогли…).

Если ты мудрец, то не нужно идти к неграмотному мужику, опускаться до его уровня и в тёмной его избе мычать с ним вместе. Нужно мудрость свою употребить на улучшение жизни этого мужика. Потому что у тебя есть то, чего нет у него — образованные мозги.

Лев же Николаевич мозги свои не ценил совсем. Во всяком случае, всем старался показать, что не ставит их ни в грош.

Потому что свалились на него с неба и его мудрость, и богатство и слава неожиданно, просто так.

И стал он ими распоряжаться так, как нищий, который неожиданно выиграл миллион.

Или — как наш обыкновенный человек, которому в руки попалась японская фотокамера с наворотами. Всё делает сама. И снимки получаются замечательные. Но, оказывается, при случае, ею можно ещё и орехи колоть…

Супруга все эти разброды и идейные шатания Льва Николаевича не только видела, но и относилась к ним с явным неодобрением. Указывала на них Лёвочке, сопротивлялась новациям, которыми матёрый человечище старался пройтись по своей многодетной семье. Хотела она, чтобы написал он ещё одну «Войну и мир» или «Отца Сергия». Про жизнь с человеческими отношениями, такую и так, как только её любимый Лёвочка мог описывать.

Но с Лёвочки всё было, как с гуся вода. Медные трубы не дают герою слушать кого-либо ещё, кроме собственного голоса. «Учение Льва Толстого всесильно, потому что оно верно» — было написано на его знамени и сомнения накатывали только тогда, когда к ногам вдруг неожиданно сваливался, ослабев от голода, прилежный последователь его Учения.

Лёвочке весьма импонировала роль трибуна. Агитатора, горлана, главаря. Он бы и в бродяги, в нищие давно бы пошёл, но перспектива слиться с толпой, раствориться в ней, оказаться в безвестности, его совсем не привлекала.

Хорошо, облачившись в рубище, постучать в двери аристократического особняка, а потом наблюдать изумление и трепет его хозяев, признавших вдруг в нём великого Льва Толстого. Графа. Всё это были игры, которые всегда позволяли, после очередного развлечения, возвратиться к себе в привычные барские покои, усесться за письменный стол и всё-таки заняться тем, к чему всю жизнь толкало его Предназначение.

И вот тут я путаюсь. Я задаю себе вопрос: — А, какое оно было, Предназначение Льва Николаевича Толстого?

Просто — стать великим писателем, одним из лучших, самым лучшим, или — привести Россию к революции? Ведь Ленинсталин — это Лев Николаевич минус человеколюбие, совесть, честь. Да, и, если сравнить, то и — ум.

Они пришли в страну, в которой общество уже было подготовлено к построению счастливой жизни путём «справедливого» перераспределения материальных ценностей и благ. Из всех заповедей Льва Николаевича эта оказалась наиболее понятной и доступной.

Вряд ли удалось бы собрать народ под знамёна революции, призывая их к нравственному самоусовершенствованию. К 17-му году российский народ устал исполнять Заповеди.

Как раз на них, на нравственность широким народным

массам предлагалось плюнуть и забыть. Они и забыли…

И ещё…

Софья Андреевна, жена писателя.

Женился на ней Лев Николаевич по любви. Детей она ему дарила беспрекословно, сколько Бог давал — столько и дарила. И Лев Николаевич их любил, старался воспитывать. И был супруге своей верен.

Но…

«…брак следует сравнивать с похоронами, а не с именинами. Человек шел один — ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Что тут и говорить, что если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногою бабы, то она будет тащиться за мною и мешать мне». Т. Полнер «Лев Толстой и его жена». — Это не «Крейцерова соната», это обыкновенный разговор Льва Николаевича с женой и учителем его сыновей. При постороннем человеке, учителе, в присутствии любимой жены Толстой высказывает свои взгляды на институт брака.

Не далеко он ушел в своих высказываниях от женоненавистнических монологов героя «Крейцеровой сонаты». Повесть эту Софья Андреевна ненавидела, хотя, возможно, и раз пять, переписала. Любила она качественную литературу.

Но, может, и зря она так относилась к шедевру, шипящему злобой в адрес прекрасного пола? Может, не про женщин пытался высказаться Лев Николаевич, окружённый со всех сторон клеткой идеальных своих семейных отношений? Может, в облике зарезанной женщины он представлял себя, и вся «Крейцерова соната» — это повесть о трагической судьбе женщины, которая — он сам? «Госпожа Бовари — это… я?..».

Ну, представим личную жизнь Льва Николаевича.

Жена исправно, каждый год, рожает ему ребёнка. Кипучий и могучий Лёвушка регулярно оказывается в ситуациях, когда близость с супругой, невозможна. То предродовой период, то — болезненное, зачастую между жизнью и смертью — послеродовое состояние. То — все силы Софьи Андреевны отдаются новорожденному, и она пишет Лёвочке, чтобы побыл он ещё в Москве, потому что сейчас ей просто не до него.

А здоровье у Льва Николаевича прекрасное и гормон в крови зашкаливает. Будучи человеком глубоких нравственных убеждений, которые сам же ещё и проповедовал, Лев Николаевич не пытается решить свои внутренние проблемы традиционным, народным способом — сходить «налево», и ищет свои пути сублимации. Хватается то за плуг, то — отказывается от мяса. Помогает плохо. И тогда… всё выливается в этот крик — «Крейцерову сонату». Где он говорит, что люди свиньи, когда друг

к другу испытывают половое влечение, что соитие — это осквернение и себя и женщины, что брак — это капкан.

«…плотская любовь — это спасительный клапан» — пишет Толстой в «Крейцеровой сонате». В реальной своей жизни у него часто под руками не оказывается этого клапана. И всем литературным своим гением он обрушивается на женщин.

О женщинах пишут хорошо те писатели, которые испытали с ними радость Любви. Которые испытывали счастье от ощущения этой женской любви к себе. Поэтому у Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», а у Лермонтова — «И скучно, и грустно, и некому руку подать…».

У Пушкина: «Пришла пора — она влюбилась…». У Толстого: «Девка созрела — надо её выдать…».

Тяжело читать о любовных переживаниях героев Достоевского, Тургенева. Свои комплексы и разочарования писатели опосредованно переносят на читателя. И писателей-то давно уже нет, а мы, из поколения в поколение, вместе с их несчастными героями переживаем и унижения, и безответную любовь…

Не может быть правым писатель, политик, философ, который не любит женщин, имеет о них извращённое представление. Смеющийся Обама со своей супругой… Бабник Клинтон, при котором Америка пережила лучшие годы своей жизни…

Возможно, если бы у Клинтона были принципы Льва Николаевича, то в политике он дров бы нарубил, и рука его, время от времени, тянулась бы к ядерному чемоданчику. Но, в кризисные душевные моменты, на месте чемоданчика оказывалась какая-нибудь Моника Левински, и мир продолжал спать спокойно.

Не буду перечислять имена наших вождей, их отношения с женщинами, и что они с нашей страной сделали.

Лев Николаевич Толстой был хорошим, обыкновенным человеком. Гениальным писателем. Что ни строчка — узнаёшь — Лев Толстой. И хочется читать дальше. Попадаешь под обаяние, хочется ему верить, следовать за ним…

Нет… Не хочу…

Программные файлы

Есть у Дмитрия Горчева небольшой рассказ, который называется «Блядь». Коротко — обыкновенная женщина хронически хотела мужчину. И не потому, что ей всегда было мало, а потому, что бывало редко, а то и вообще не бывало. А, когда всё время не бывает, то тогда всё время хочется. Вот и получается, что хронически. На счастье женщины, встретил её в парке маньяк, который будто бы хотел с ней совершить то, о чём она каждую ночь, а потом уже и каждый день, мечтала. Ну, и не стала она от этого маньяка отбрыкиваться: — Бери! — мол, — владей мной, как твоей преступной башке заблагорассудится!

Конец рассказа печальный: маньяк повесился. Женщина своим поведением сбила ему программу. Испугалась бы при первой встрече, сопротивлялась — жил бы маньяк и дальше. А так — файл повредился. Вот, есть у нас в голове диск «С», на который всё от рождения записано — как жить, как себя вести. Что делать, к чему стремиться. А есть остальные мозги, где много других программ. Которые тоже нам жить помогают, либо, напротив, её усложняют. Но их можно менять, вставлять на их место новые. А те, что на диске «С» — их менять нельзя. Там даже такие папочки есть, которые предупреждают, что, если их раскрыть, полезть туда пальцем, то всё поломается. На диск «С» в нашу голову записано всё, что связано с продолжением рода, с любовными отношениями. Люди очень нервничают, когда кто-то пытается проникнуть к ним в эту заповедную зону. В американском фильме гангстер говорит своему психологу: — Если ты ещё, хоть раз скажешь что-то про мою маму!.. Психологи специализируются на том, чтобы проникать в человеческие диски «С» и корректировать поведение пациента. И тут посетитель не раздражается, он сам позволяет забираться к себе в подсознание и даже платит за это деньги. Идёт к врачу по своей воле. Знает, на что идёт. Но есть ещё одна категория людей, которые пытаются проникнуть к нам в мозги, туда, куда нельзя. И нет у них на то никакого документа. Это — писатели, художники, музыканты. В большинстве своем они работают с программами на тех наших дисках, которые не диск «С». Влияют на нас, но ничего в нас особо не задевают. И мы не чувствуем опасности, что будут у нас необратимо повреждены жизненно важные центры. Но есть и другие… Шесть лет назад я написал книгу об отношениях мужчин и женщин. Написал так, как я это чувствовал, как понимал. Писал без надежды на то, что книга увидит когда-нибудь свет. Поэтому ни в чём себя не

ограничивал. Я выступил, как бы в роли подопытного кролика. Который под ножом хирурга рассказывает о своих впечатлениях. И был хирургом сам себе. Что в этом случае писать можно, чего нельзя, что подумают люди, мои возможные читатели? — я не думал об этом. Книга не только написалась, но она издалась. Появились читатели. Первые отклики. И — вот тут у меня и возникло это странное чувство. Как будто я через свои рассказы проникал в те области читательского сознания, которые они считали только своими, тайными, куда нельзя посторонним. Что мысли и фантазии, которые блуждают в лабиринтах нашего сознания — о них нельзя говорить, даже намекнуть на возможные о них догадки. Знакомая женщина сказала: «Я бы не дала своим дочерям читать твою книгу…». А у дочек уже давно свои дети. И живут они в современном нашем мире, где Камасутру узнают, чуть ли не в одно время с таблицей умножения. Но мою книгу, где я не расписывал позы, где нет подробного описания любовных схваток — мою книгу им читать нельзя. Им можно смотреть порно, иметь любовников, но мою книгу читать нельзя. Потому что Камасутра — на диске «D», а то, о чём пытался рассказывать я — на диске «C»… Я отсылаю книгу друзьям, знакомым. И получаю иногда в ответ: — Не знаю, что сказать… Отнёс в городскую библиотеку Орска — и теперь библиотекарши, при встрече со мной, отводят глаза в сторону. Как будто я — инфицированный. Или — увидел их где-то раздетыми, в какой-то чрезвычайно неудобной, ситуации… Забыть, не узнать, поскорее пройти мимо… Да, я хотел стать писателем. Откуда я знал… А, если бы и знал, то всё равно пошёл бы по этой своей кривой дорожке. На ней я нашёл много друзей, которым нравятся мои игры разума на территории, на которую стыдно, нельзя, не принято заходить…

«TIRIT KIVI»

В августе оказался у моря. Путёвка. Отель «Тара» в Черногории, море — Адриатическое. Тепло. Пальмы.

Утром выхожу первый раз на тропинку, которая ведёт к пляжу. Первое, что бросилось в глаза: как изменились женщины! Раньше вокруг были женщины по возрасту очень разные, ввиду чего интерес к ним оказывался весьма ограниченным этими самыми возрастными рамками. Раньше было много взрослых, пожилых и старых женщин. Сейчас я их практически нигде не замечаю. Все молодые, все хорошенькие. Мне уже за шестьдесят и почти все женщины моложе меня. Соплячки. По отношению к сорокалетней женщине я чувствую себя педофилом.

Когда тебе за шестьдесят — как прекрасен этот мир — посмотри!

В номере со мной интеллигентный человек — Юлий Эрастович, научный сотрудник. Между нами почти пропасть: я — простой рабочий, Юлий Эрастович — большой начальник в своём интеллигентском кругу.

Естественно, что у меня всякие, свойственные моему сословию, порочные привычки. Я не про женщин — нет. Общение с Женщиной — это поклонение, это — молитва. Порок — это когда, например, «не укради», а руки чешутся. Ну, это, как теперь принято говорить, ИМХО.

И вот говорю я соседу своему по номеру, Юлию Эрастовичу: «Я видел, что во дворе соседнего отеля киви растут!..». — И что? — приподняв очки и оторвав глаза от кроссворда, спросил меня учёный сотрудник. — Ну, это, — говорю, — надо бы ночью слазить! Юлий Эрастович на секунду задумался: — Куда? — Ну, это, — говорю, киви нужно у них в соседнем отеле потырить. — По…Что?.. — переспросил Юлий Эрастович. — Спи… — хотел пояснить я, но посмотрел в чистые глаза интеллигентного человека и быстро поправился: — Ну, это… — Украсть…

Приличия требовали от Юлия Эрастовича сделать хотя бы несколько попыток оказать сопротивление этому непристойному предложению. Потому что, каким бы интеллигентным, каким бы образованным человек ни был, а хочется ему иногда, хоть на секундочку, скинув пиджак, в белой своей накрахмаленной сорочке в грязи поваляться.

Всё, что было нужно сказать Юлию Эрастовичу по поводу невозможности принять участие в позорной акции, было им высказано, после чего мы дождались самого тихого, самого мёртвого часа в черногорской ночи и пошли на дело.

Отель «Монтенегро» рядом, через дорожку. Господи! Ну, Юлий Эрастович! Белые брюки, рубашка, опять-таки, белая! Кто же так ходит киви тырить?.. Уже, когда меня подсаживал, чтобы через низенький заборчик перелезть — уже об мои шлёпки весь испачкался. Пыхтел — солидность всё-таки, как у всякого взрослого мужчины, животом обозначена. Можно было, конечно, и через калитку, пройти, и через ворота — там всё открыто, никакой бдительности. Но тогда весь интерес пропадает. Перелез я через заборчик, Юлию Эрастовичу помог через него перевалиться. Вот они, кивушки наши родимые! Висят себе, ни о чём таком не догадываются. Ну, пришлось Юлию Эрастовичу и тут потрудиться: киви эти оплели беседку и с потолка, как виноград, над нами повисли. Приподнимал меня Юлий Эрастович, а я рвал. Сначала ел, а потом рвал. Юлий Эрастович кряхтит, упадёт вот-вот…

Рвал я, в мешочек полиэтиленовый складывал. Потом мы с Юлием Эрастовичем ещё полные пазухи себе этих лохматых картошек наклали.

А кругом фонари, светло, как на телевидении!

Перелезли мы обратно тем же способом. В пазухе у Юлия Эрастовича киви подавились от напряжения, белая рубашка зелёными пятнами пошла.

В номере краденное на кровать высыпали, красиво получилось. Столько добра и всё даром! Есть у ворованных предметов такая положительная особенность. Юлий Эрастович опять слабо посопротивлялся, а потом взял-таки с журнального столика рюмку водки, которую я налил по случаю нашего праздника. Так к утру всю бутылку и уговорили.

Утром долго спали.

Потом пошли к морю, окунуться. А проходить нужно через фойе, в котором большой прилавок, за которым всегда стоят вежливые служащие отеля. Всегда улыбаются всем подряд, всем радуются.

На этот раз в фойе было необычно людно. Целая толпа всякого народа собралась, смотрели телевизор, который на стене был подвешен. И мы, конечно, подошли. А вдруг Каддафи поймали, ураган «Айова» изменил направление или Ходорковского отпустили?..

Нет, смотрели, видно, какой-то детектив. Зелёные заросли, темные тени, хруст веток… Ба! Так это же мы с Юлием Эрастовичем! Там же кругом видеокамеры были понатыканы! Современные технологии, блин. В полумраке разглядеть было трудно, но точно — «нано». И теперь они через свой полтора метра на два нано телевизор всё просматривали. Когда действие

дошло до того, как Юлий Эрастович, сидя среди груды приморских овощей на кровати, опрокинул первую рюмку, раздались громкие аплодисменты. Потом кто-то заметил нас и раздался этих аплодисментов целый взрыв. Старики, женщины, дети, отдыхающие в одежде и без, кинулись восторженно к нам. Смеялись, жали руки, просили автограф.

Через толпу протиснулась Оксана, представитель экскурсионной фирмы «R-tur», тоже с чем- то поздравила. Оказывается, наша ночная прогулка произвела большое впечатление на общественность отеля. Многие из отдыхающих стали проситься устроить им такую же экскурсию. «R-tur» первой ухватилась за эту идею. Поездка в Каньоны — 55 евро, спуск по речке Тара на плотах, RAFTING — 65 евро. Ночью воровать киви?.. Это же, сколько на этом можно заработать?!..

Оксана сунула нам в руки по сто евро, попросила подписать какие-то бумаги. В них из знакомых латинских словосочетаний угадалось только одно, в кавычках: «TIRIT KIVI».

Мы, подписали, не стали торговаться.

Побывали мы с Юлием Эрастовичем и на одной из «фирменных» экскурсий по Черногории. В далёкие времена на маленькое государство нападали все, кому не лень. Ждать помощи можно было только от Бога. Поэтому строили монастыри. А, чтобы слово Божие оказывало на врагов наглядное действие, параллельно строили ещё и крепости.

Турки, которые чаще всего бывали на черногорской земле незваными гостями, тоже, в меру сил, помогали. Увидели, что живёт черногорский народ в тяжелых условиях. С водой напряжёнка, больниц нет, опять-таки, они, турки, постоянно нападают. И нашли янычары в одном из монастырей монаха и сделали его святым. А для этого содрали с него с живого кожу. И с тех пор святой всех людей в округе лечит, решает проблемы с водой и жильём. И добился, наконец, что турок этих уже давно и ноги нет на земле черногорской…

Ну, так сказать, со страной ознакомились, напряжение сняли, можно было бы уже и спокойно отдыхать. Да, уже и собрались. Прошлись уже несколько раз по асфальтовому тротуарчику к морю и обратно. А оно, идёшь — ведь по сторонам смотришь. Запоминаешь достопримечательности. Пальмы, например. В конце августа листья на них, как и у нас, на клёнах карагачах, желтеют. Пальмовый листопад начнётся, видимо, где-то в сентябре, нам его уже не увидать.

И тут заметили мы ещё ананас. Большой такой, растёт прямо из земли, как морковка. Вот те и раз! У нас в магазине продают всякую мелочь, а настоящий ананас, оказывается, совсем

гигантский корнеплод. Ананас этот рос на лужайке отеля для миллионеров. Конечно, сто пятьдесят рублей за килограмм — кто ещё такое может себе позволить! Пролез я под шлагбаумом, помог пролезть Юлию Эрастовичу. Интересно же эту рифлёную морковку вблизи рассмотреть! Подошли, замеряли — где-то три наших обхвата! Это же полтонны, а то и больше вкуснейшего продукта!

Я посмотрел на Юлия Эрастовича…

Ночью мы с лопатами были уже на лужайке перед ананасом. Чтобы никто нас на этот раз не узнал, лица обмотали тряпками с дырочками для глаз. Правда, от белого своего костюма Юлий Эрастович всё-таки не смог отказаться. А зря…

Стали копать. Дело оказалось безнадёжным. Закопались вокруг, как шахтёры, а конца этому корню так и не видно. Тут без экскаватора никак. Бросить как-то неудобно. Хорошо — с достоинством отказаться от затеи помог случай. В этом миллионерском дворце-отеле по ночам на лужайку служители выпускали на прогулку молодую белую пуму. Ну, и она к нам подошла, посмотреть, чем занимаемся.

Потом решила с нами поиграть…

Костюм Юлия Эрастовича превратился в тюль плиссе гофре. Безнадёжно пострадали и мои треники с маечкой. Пума нас не кусала. Так, попинала лапами, обслюнявила — и всё. Ушли живыми, на четвереньках, стараясь быть похожими на кошек. Чтобы спастись, все средства хороши. Мы ещё, как могли, «Мяу!..» кричали.

Естественно, что наутро мы в нашем отеле уже были героями. На нас приходили посмотреть даже из миллионерского дворца.

Оксана на этот раз выдала нам уже по двести евро, и мы подписали ещё одну бумагу.

И потом до конца нашего сезона на всём побережье нас бесплатно угощали, катали на лодках и вообще оказывали нам всевозможные знаки внимания.

И вот наступила последняя ночь. На следующий день самолёт, отдохнувшие, загорелые будем улетать на родину. Юлий Эрастович, по сложившемуся уже обыкновению, ушёл в кафе, поразгадывать кроссворды. В нашем отеле всегда было тихо, а в эту ночь в коридоры на наш этаж пробрался какой-то явный дебошир. В тишине он стучался к кому-то в номер, требовал открыть. Отдыхал, потом стучался опять. Я пытался не обращать внимания. Потом всё-таки выглянул в коридор. Дебошира не было видно, он глухо стучал, как будто бился головой, где-то за поворотом. После двух трёх ударов он делал паузу, рычал:

— Лола, открой! — Потом бился дальше. Разнообразия ни в

ударах, ни в текстах особого не было:

— Лола, я знаю, ты здесь! Лола, открой, убью!..

Бум!.. Бум!..

Я оглянулся. Голубые испуганные глаза, длинные волосы. Руки прижаты к груди.

— Тебя как зовут?

— Лола…

Я выглянул в коридор. Свободно. Рычание и стуки на достаточном удалении.

— Беги, Лола, беги!..

Дурочка, юбку забыла надеть…

На другой вечер наш самолёт взмыл над синим зеркалом Адриатики, направляясь на восток, туда, где уже начиналась ночь. Очень скоро стало совсем темно. Новогодними ёлками сияли под крыльями самолёта европейские города. Я уснул. Моё астральное тело вышло за пределы самолёта, чтобы полюбоваться, посмотреть на все со стороны.

Airbus A320, казалось, завис под яркими августовскими звёздами.

Огромным светящимся газовым шарфом, в глубоком черном бархате ночи над ним раскинулся Млечный Путь…